РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА БОЛЬШИЕ КНИГИ

Анатолий Иванов

ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ

«АЗБУКА»

Русская литература. Большие книги

Анатолий Иванов

Тени исчезают в полдень

«Азбука-Аттикус»

1963

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Иванов А. С.

Тени исчезают в полдень / А. С. Иванов — «Азбука-Аттикус», 1963 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21726-3

Роман «Тени исчезают в полдень» вышел в свет в 1964 году и имел огромный успех у читателей, а его автор был причислен к современным классикам. Через несколько лет по мотивам романа сняли знаменитый телесериал, который для миллионов телезрителей стал одним из самых любимых, и книга сделалась еще более популярной. Во времена перестройки, как и многие литературные «генералы» советской эпохи, Анатолий Иванов попал в опалу у литературных критиков, но его книги оставались — и остаются — такими же популярными, как и раньше. И уже новое поколение читателей погружается в драматическое повествование о далекой сибирской деревне Зеленый Дол, охватившее несколько десятилетий, и следит за жизненными перипетиями героев, в судьбах которых, как в капле, отразилась история целой страны.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-21726-3

© Иванов А. С., 1963
© Азбука-Аттикус, 1963

Содержание

Пролог 6
1 6
2 9
3 12
4 18
Глава 1 26
Глава 2 41
Глава 3 54
Глава 4 60
Глава 5 67
Глава 6 71
Глава 7 78
Глава 8 97
Глава 9 101
Конец ознакомительного фрагмента. 115

Анатолий Иванов
Тени исчезают в полдень

© А. С. Иванов (наследник), 2022
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®

Галине Ивановой, верному другу

Оттого молодец с лошади свалился, что мать криво посадила.
Пословица

Пролог

1

Когда-то стояла здесь угрюмая, сумеречная тайга, сквозь которую с трудом пробивалась безымянная речка.

Однажды пришли на ее берега люди, разложили костер. Пламя лизало сухой валежник, отсвечивало на черных от времени, липких от проступавшей смолы стволах деревьев, отражалось в глубине спокойных вод.

На другой день начали валить деревья и строить жилье.

Трудно сказать, почему облюбовали они эти необитаемые места. То ли понравился им могучий каменный утес, возвышавшийся над тайгой неподалеку, на противоположной стороне реки, то ли сама река. А может, решили они поселиться тут потому, что не было сюда путей-дорог, не досягал ничей глаз, не доставала ничья рука.

Так или примерно так возникали в вековечной сибирской глухомани заимки, раскольничьи скиты, всякие поселения. И вот стояло уже к зиме на берегу несколько торопливо и кособоко срубленных домишек, воровато курившихся по утрам желтым дымком от сосновых и кедровых сучьев.

Всю зиму люди продолжали валить деревья и таскать их к берегу на веревках по оледенелым накатам. И к следующей осени количество домов утроилось.

Деревне еще и названия не было, а реку наименовали Светлихой – наверное, за чистые и прозрачные, как сосновая смолка, воды, за тихий нрав, за приветливо приютившие людей берега.

Правда, весной река ревела и пенилась, грозя выплеснуться из берегов. Неслись по ней могучие деревья, вывороченные где-то из мягкого грунта. Крутились в водоворотах, с треском разламывались об утес. Но уже к концу апреля вода спадала, быстро очищалась от мути, щепок и прочего мусора, виновато плескалась под ноги расхаживающих по берегу людей.

А потом, много лет спустя, случился страшный пожар. Он начисто выжег тайгу по всему левобережью, обуглил землю на много верст, оплавил и закоптил каменные глыбы утеса. Гореть бы жирным смольем и деревне, если бы не Светлиха.

После пожара люди попробовали было селиться и на левой стороне Светлихи, но воды смирной летом реки за три-четыре весны размыли оголенный берег и в половодье затапливали все левобережье, до самого утеса. Люди перевезли на правый берег свои домишки. На образовавшихся громадных заливных лугах каждое лето волновалось теперь буйное разнотравье – коси не хочу!

С тех времен и называется деревня Зеленый Дол. Может быть, до пожара она имела какое-то другое название, но история его не сохранила.

Деревня хотя и медленно, но разрасталась из года в год только по правому берегу. Он был немного холмистый, домишки лепились по отлогим залесенным склонам. Кое-где над домами, как безмолвные часовые, стояли даже кряжистые кедры. Теперь в селе было несколько улиц, тянувшихся вдоль речки, и десятка полтора переулков, нырявших между холмами.

Чем дальше к окраине, тем гуще становились заросли. Однако настоящая тайга начиналась только за Чертовым ущельем. Зубчатой стеной она подпирала самое небо.

Чертово ущелье находилось километрах в двух от деревни. Это была глубокая, саженей в пятнадцать, впадина с почти отвесными каменистыми краями. Бока ущелья зарастали крушиной, вереском и мелким кустарником. На дне его, неумолчно позванивая, холодно кипел,

брызгая белой пеной, ручей, питавшийся подземными ключами, что били из-под обомшелых, насквозь прозеленевших камней. Спуститься в ущелье можно было только в двух-трех местах.

Каждому, кто заглядывал в ущелье летом, оно дышало в лицо холодным черным сумраком. Очевидно, поэтому дикое ущелье и называли Чертовым.

Каждое утро, когда еще не было видно солнца, гранитная верхушка утеса над Светлихой уже окрашивалась в красно-розовый цвет. По мере того как где-то поднималось солнце, краска с вершины утеса стекала все ниже и ниже. Розовый цвет превращался в желтоватый, блекнул прямо на глазах. Казалось, вот-вот камни совсем потухнут. Но через несколько минут бледно-желтая краска начинала густеть, принимала медноватый оттенок. И вот уже весь утес горел золотом, горел столь ослепительно, что на него больно становилось смотреть. Каждый гранитный кристаллик яростно отражал лучи невидимого еще людям солнца, эти лучи сливались в один огромный огненный, полыхающий столб.

Утес потухал, когда показывалось над землей солнце. Некоторое время поблескивали еще, переливались, как живые, белые искорки по его каменному срезу, висевшему над Светлихой, но скоро и они гасли.

Люди издавна заметили эту игру света и окрестили утес Злат-камнем.

А однажды пустил кто-то слух: неспроста называется так утес – под каменными глыбами лежит несметное количество золота в самородках и россыпью.

Слух загудел по Зеленому Долу, как памятный таежный пожар, раздуваемый ураганом. Люди кинулись через Светлиху на лодках и вплавь, долбили ломами брызжущий железными осколками гранит, рыли лопатами, а то и руками мокрый, тяжелый, как свинцовая дробь, песок. Облазили все скалы сверху донизу, изогнули ломы, истерли лопаты, до костей спустили мясо на ладонях, но никакого золота не нашли.

Со временем люди утихомирились, перестали долбить камни и рыть песок. Но молва о богатствах, скрытых под утесом, не исчезла. Она жила среди народа и была как летнее марево: вот дрожит оно под ближним пригорком, а подойди – ничего здесь нет, оно струится над следующим. И, витая над деревней, легенда все больше и больше окутывала утес ореолом таинственности.

На самой вершине утеса из широкой, забитой землей расселины рос огромный, развесистый осокорь. Он был настолько могуч, что казалось, каменный утес не выдержит его тяжести и вот-вот развалится; настолько высок, что в ненастные дни тяжелые облака спускались ниже его ветвей. Может, поэтому в него ни разу не ударила молния. Только ветер отламывал иногда от него ветки и бросал в Светлиху.

Осокорь был виден за много километров. Солнце теперь освещало прежде всего верхушку дерева и уж потом начинало расцвечивать камни.

Люди удивлялись: почему осокорь вырос на самой вершине утеса, каким ветром и откуда принесло сюда его семечко? Ведь, кроме берез да осин, в этих местах не растут лиственные деревья. И лишь немногие знали, что осокорь посажен был человеческой рукой.

Сейчас уж никто не помнит имен первых поселенцев Зеленого Дола и никто не знает их судьбы. Но лет за сорок до революции появился в деревне мужичонка с деревянной ногой – Авдей Меньшиков. Этого старожилы уже помнят.

«Хром ногой, да прям головой», – с завистью шептали о нем одни. «Нога у него деревянная, да руки железные, – с отчаянием говорили другие. – Схватит за горло – уж не отпустит».

Авдей Меньшиков действительно в скором времени взял всех за горло и держал намертво. Он отобрал у прежних хозяев тучные покосы и лучшие земли. Больше полдеревни стало работать на него.

Авдей Меньшиков умер ровно за двадцать лет до революции. После него в деревне хозяйничал свирепый и своенравный, как дикая лошадь, Филька Меньшиков. У этого руки были

уже не железными, а стальными. И, кроме того, у него, в отличие от родителя, было две ноги. Он так и говаривал:

– Батя все одной ногой давил вас, а я – обеими! Обеими, понятно?

Понятнее было некуда.

Филька любил выпить. А выпив, ходил по деревне, останавливал встречного и поперечного, жаловался:

– Вот что я? Филипп Меньшиков. Помру я – что тогда? Ничего, останется мой брат, Демид Меньшиков. Понял? Сына бы, конечно, надо мне. А баба проклятая дочерь народила, с-стерва… Натахой прозвали, Натальей, значит. Я предупреждал: «Девку принесешь – возьму тебя за ноги и надвое раздеру…» И раздеру! Понял? Я десять лет наследника ждал, а она – нá тебе! Разродилась, называется…

Помолчав, Филипп обычно добавлял:

– А с другой стороны, дочерь – она тоже хоть и баба вроде, да Меньшикова. Понял? И вечно мы будем на земле – Меньшиковы. Понял? Ну, дуй колесом, пока в рыло не сунул!

Особенно тяжело и безжалостно давил Филипп своих односельчан в годы мировой войны, наживая бешеные деньги на военных поставках зерна, мяса, кож. Он раздобрел, расплылся и по запустевшей без мужиков деревне ходил неторопливо, переваливаясь с боку на бок, как раскормленный селезень.

Все операции по поставкам Меньшиков производил через Парфена Сажина, богатого мужика-старовера с мохнатой, как овчина, шеей, жившего в волостном селе Озерки, что верстах в сорока за Светлихой.

2

Стояло душное лето пятнадцатого года.

Филипп Меньшиков и Парфен Сажин отмечали одно из своих многочисленных удачных дел.

За столом, кроме них, сидели еще Демид да Анисим Шатров, гуляка-парень лет двадцати пяти, сын зеленодольского мельника.

– Эх, Парфен, да мы с тобой… ить… – икал осоловевший вконец Филипп. – Токмо вот мужичишки бы с войны повозвертались! Не хватает рабочей силки. Н-да ништо, не всех перебьют, поди, там. Ух, уж развернусь тогда!..

– Не шибко-то надейся, Авдеич, – хрипел в ответ Парфен. – Они, которые возвращаются… того, однако…

– Чего «того»?

– Как бы там и не слез, где сесть хочешь. Вернулся один такой бывший работник ко мне… Я ему рупь за работу даю, он два требует. Я было горлом на него, а он костыль половчее берет…

– Хе! – воскликнул Филипп. – У меня не возьмет! У меня они все шелковые. По струнке ходят. И бывшие, и настоящие. Н-нет, мой рупь они уважают! – распалялся Меньшиков все больше и больше. – Понял? Чего? Не веришь?! А ну айда!

Филипп и Парфен вывалились на крыльцо, чуть не сломав перила. Возле конюшни высокий парень в черной рубахе навыпуск кидал навоз.

– Захарка! Подь сюда! – закричал Меньшиков.

Парень воткнул вилы в навозную кучу, отер пот с лица, подошел:

– Чего тебе?

На вид парню можно было дать года двадцать четыре, если не больше. Здоровый, крепкий, как лиственничный сутунок, он стоял, чуть пригнув голову, спокойно разглядывая Меньшикова и Сажина большими серыми глазами. Его широкие влажные скулы матово отсвечивали на солнце, капельки пота поблескивали и в пробивающемся пушке над верхней, резко очерченной губой. Ветерок шевелил ворот расстегнутой рубахи, сушил мокрые, давно не стриженные, буйные волосы, закрывавшие половину лба.

На самом же деле Захару Большакову едва исполнилось двадцать. Он уже четвертый год жил у Меньшиковых в работниках.

– Ишь, уставил гляделки! – нахмурился Филипп. – Чего, дурак, набычился?

Парень промолчал, только сунул руки в карманы измазанных навозом домотканых штанов да переступил с ноги на ногу.

– Прибавки к жалованью хочешь? – спросил Филипп.

– Кто ж не хочет?

– Ну, всем-то жирно будет. А тебе единовременно сейчас выдам. Ежели не упадешь, конечно.

Филипп сполз с крыльца, не спеша засучил рукава. Захар все так же спокойно наблюдал за ним, по-прежнему держа руки в карманах. Меньшиков качнулся и наотмашь ударил парня в лицо.

Голова Захара мотнулась, струйка крови разрезала надвое крутой подбородок. Но парень и теперь не вынул рук из карманов.

А Меньшиков, пьяно ухмыляясь, полез в карман за кошельком.

– Вот так, Парфен… Вот этак они мой рупь-то уважают. Сейчас, Захар, сейчас… На. Заработал – получи.

Захар вынул наконец руки из карманов, но, вместо того чтобы взять деньги, тяжело размахнулся и что есть силы звезданул своего хозяина в волосатую скулу. Пошатнулась под Мень-

шиковым земля. Филипп отлетел в сторону, грузно шмякнулся оземь, перевернулся несколько раз. Затем, лежа на спине, чуть приподнялся, заморгал удивленно, непонимающе.

А Захар, вытирая пропахший навозом кулак, сказал:

– Прости уж, платить нечем.

Со Светлихи с большим тазом выполосканного белья подошла Марья Воронова, поденщица Меньшиковых.

Высокого роста, с ясными глазами цвета вызревающей черемухи, с крутыми бровями и длинной, чуть не до колен, косой, Марья, по общему мнению зеленодольцев, была самой красивой девкой в деревне. Самой красивой девкой, но и самой старой невестой. Годы ее подходили к двадцати пяти, а она все еще не обзавелась семьей, по не понятной никому причине отказывая всем женихам. Потом причину узнали – сохнет Марья по мельникову сыну Анисиму.

Филипп давненько уже поглядывал на Марью мутным глазом. В последнее время, краснея и шмыгая носом, начал тереться, крутиться вокруг нее и Демидка. Однако ни тот ни другой трогать ее не решались. Едва встречался ей кто-нибудь из них будто случайно, в глухом месте, Марья, гибкая и крепкая, точно отлитая из одного куска резины, ошпаривала их крутым предостерегающим взглядом красивых глаз, чуть шевелила густыми бровями, и каждый из братьев поспешно убирался восвояси.

Она поставила таз с бельем на землю, поглядела на распластанного Филиппа, усмехнулась, показав белые зубы, и сказала:

– Я бы, Захар, уплатила за тебя ради такого случая. Да тоже не заработала.

И словно только теперь к Филиппу вернулся разум, и понял он, что произошло.

– Т-ты?! Кого эт-то ты?! – заорал он, вскакивая. – Демидка! Анисим! Парфен! Скрутить Захарку! Обломать ему кулачища-то…

Из дома выскочили Демид Меньшиков и Анисим Шатров. Не понимая, что произошло, они кинулись на помощь Парфену и Филиппу, крутившимся вокруг Захара Большакова.

Со всеми ими трезвыми Захару, конечно, было не справиться. Но пьяных он раскидал их, как мешки с мукой, отшвырнул крепче других вцепившегося Демида, оставив в его руках кусок рубахи, и выскочил с подворья.

– И Марью-потаскуху тоже в шею! – орал взбешенный Филипп. – Аниска, поддай, говорю, своей ухажерке! Она слюной-то на тебя исходит – всем известно. Вдарь по шарам ее бесстыжим!

– За что? – спросил Анисим.

– За насмешку…

И только теперь Анисим увидел заплывший Филиппов глаз.

– А-а… – махнул рукой Шатров. – Если уж обидно тебе, что бесплатно фонарь подвесили, я заплачу…

– Анисим! Что городишь?! – заворочал глазами Филипп.

– А-а… – еще раз протянул Анисим. – А ты, Марья, смелая… хозяину-то эдак! За это погуляю с тобой сегодня ночку. Приходи на Светлиху к вечеру. Придешь?

– К пьяному-то… – подняла на него глаза Марья, но тут же опустила их. И, никого не стесняясь, прибавила: – К трезвому вот приду.

– А трезвый-то я, может, и не позову тебя, – нахально сказал Анисим и повернулся к Демиду. – Айда допьем, чего там осталось. Очухаются – приползут.

Анисим с младшим Меньшиковым ушли в дом. Парфен Сажин, чертыхаясь, отряхивал пыль с колен, с рубахи.

– Ладно он нас, пострел этакий… Силища как у дьявола. – Парфен подошел к Филиппу, стал помогать подниматься. – И в самом деле – айда пображничаем еще… Вот сына мово, Матвейки, нету здесь. Он бы его, Матвейка-то… в два счета. Ладный у меня сын, далеко только. На Урале, на самой родимой Печоре разъезжает. Знаешь, где Печора-то, благословенная река?

Нет?… А сын у меня к большим делам приставлен, к самому Аркадию Арсентьевичу Клычкову. Знаешь Клычкова-то? Нет?… Да где тебе!..

3

Примерно в то же время этот самый «сам» – Аркадий Арсентьевич Клычков, известный по всему Уралу купец и промышленник, «обмывал» покупку Большереченских золотых приисков. Третий день над североуральским таежным селом стоял дым коромыслом.

– Эх, ядрена шишка, знай, народ, Таежного Клыка, ложись травой перед Аркашкой Монахом, сволочи-и! – тряс широкой староверческой бородой Клычков. Он схватил бокал коньяку, разбавленного шампанским, долго сосал обжигающую влагу распухшим за трехдневное гульбище ртом.

– Аркадий Арсентьевич… Аркаша-а! – простонала знаменитая екатеринбургская проститутка Дунька Стелька, женщина накрашенная, тонкая как змея. Вот уже полгода ее таскал с собой повсюду Клычков. – Право же, неудобно… Люди к тебе с почтением…

– Цыц, Дунька! – оборвал ее Клычков. – Знаем мы, что за почтение… Знаем, как за глаза-то навеличивают…

Клычков презрительно оглядел разномастных гостей, шумевших в большой и высокой зале с люстрами. Теперь эти люстры, и зала, и весь огромный дом бывшего хозяина рудников – его, Аркадия Клычкова, собственность. Да и люди, смятые, взлохмаченные, куражившиеся за столами, вповалку лежавшие на плюшевых потертых диванах вдоль стен (неважно шли дела у бывшего золотопромышленника, Аркадий Арсентьевич это слышал, но, когда увидел потертые диваны, сразу сбавил цену за рудники на одну четверть), эти люди тоже почти принадлежали ему. А ведь в зале копошились не какие-нибудь трень-брень – ирбитские ярмарочные воротилы, тюменские скупщики хлеба, скота, масла, златоустовские промышленники со своими компаньонами, тагильские заводчики. Было время, кланялся им Клычков каждому в отдельности, пусть теперь кланяются ему все вместе. Ведь у него, у Клычкова, хлебные, галантерейные, москательные, меховые и разные другие лабазы в Ирбите, у него медные и серебряные рудники по реке Чусовой, угольные шахты на Вишере, торговые конторы во многих уральских городах, в том числе в самом Екатеринбурге, он неограниченный хозяин вычегодских и печорских лесов со всеми их богатствами.

Все, все есть у него, Аркадия Клычкова. Не было только золотых рудников, а теперь пожалуйста!

Высокие окна раскрыты настежь, теплое августовское солнце заливало залу, ветер чуть шевелил легкие кружевные занавески. Занавески были уже клычковскими, он приказал их повесить перед приездом гостей.

С улицы доносились пьяные крики, матерщина, песни – третий день вместе с новым хозяином рудников гулял и рабочий люд. Клычков приказал кабатчику поить всех бесплатно.

В открытые окна налетело множество больших зеленых мух. Они кружились над столами, облепили развороченные закваски, целыми полчищами ползали по скатертям, образуя живые темные островки там, где было пролито вино или варенье.

Один такой островок был как раз напротив Клычкова. Он глядел-глядел и вдруг хлопнул по столу тяжелой ладонью.

Мухи разлетелись не все. Около десятка остались раздавленными на столе, примерно столько же прилипло к ладони.

– Вот! – сказал Клычков, поднимая руку. – А Таежный Клык – пусть. Лишь бы не затупился. И Монах пущай. Старой веры мы, это верно. Хотя в Бога я вроде уже не верю. Сестра моя, правда, живет по старому укладу. Па-агадите, жирные брюханы, я вас еще приглашу в Черногорский скит на Печору, вы еще поздравите у меня игуменью Мавру с ее именинами! Растрясете важность-то по тайге. Поедете аль откажетесь?

– Аркадий Арсентьевич… да хоть в самое пекло, только дай знать, что желаешь… – откликнулся ирбитский купец Прохор Воркутин, мотнув начинающей лысеть головой. – Уважаем мы тебя.

– Уважаешь? – Клычков усмехнулся. – А не припомнишь, годков с десяток эдак назад я слезно просил у тебя тыщонки три на поправку, когда единственный мой амбар с первой в моей жизни закупленной партией зерна вдруг сгорел? Взял да и сгорел. А, как? Легко мне было? А ты…

– Так, Аркадий Арсентьевич… У тебя розмахи-то сразу объявились… Ты – с места вскачь, наметом пошел… Где у меня такие капиталы были? Я и сейчас не смог бы. Да и сдавалось мне тогда – для виду просил ты, не по нужде…

– Что-о?! – багровея, хлопнул Клычков еще раз по столу ладонью с прилипшими мухами.

Самое больное место задел Воркутин. По всему Уралу метался слух – с чужого добра пошел жить Клычков. Лет десять-двенадцать назад безвыездно сидел он на Печоре, где в глубине таежных дебрей сохранились еще старообрядческие общины и целые скиты. Жили Клычковы небогато, были яростными приверженцами и хранителями старой веры. За это сестра Аркадия, бобылка Мавра, была избрана уставщицей[1] при игуменье одной из черногорских обителей. Уставщица Мавра столь исправно несла часовенную службу, столь истово соблюдала все религиозные каноны, что игуменья перед смертью выбрала ее своей заступницей.

Новая настоятельница обители перебралась на житье в игуменскую стаю[2]. И, в обход всех староверческих канонов, сделала своей ключницей некую Пелагею Мешкову, которая вместе с другими женщинами-ткачихами из напряденного льна и шерсти ткала на общину пестряди, новины, сукна.

Долго гудела приглушенно обитель: почему именно Пелагею, женщину замужнюю, соблюдением основ старой веры особо не отличающуюся? Болтали даже потихоньку злые языки, что новая игуменья и ключница делят напополам мужа Пелагеи – рябого и белобрысого мужичонку Никодима, сокрушались: экое святотатство, гибнут, рушатся вековые устои и заповеди.

Но постепенно новая игуменья так забрала власть, что самые болтливые языки прикусили.

И вскоре после этого появились в Ирбите два шустреньких скупщика хлеба – чернявый Аркашка Монах и белобрысый Никодим Мешков.

Мешков, совершив две-три удачные операции, уехал с кучей денег в Екатеринбург, открыл там большой универсальный магазин, а Клычков остался…

Об этих слухах знал Аркадий Клычков. И обидно было, что все считают, будто на общинные обительские деньги начали разживаться они с Мешковым. А все было не так. Что касается денег, Мавра была строгой и честной игуменьей, у нее копейки не выпросишь обительской. Просто чистили однажды они с Никодимом Мешковым заплесневелый погреб в игуменской стае, и провалилась лопата в стенку. Раскидали землю, гнилье какое-то, ржавые железки, обнаружили подземелье. Со страхом вошли, засветили свечку и увидели десятка два полусгнивших кованых сундуков, а в них – прах от тряпья да мехов. Что сохранилось, так это серебряная посуда да с горсть старинных золотых монет, колец и серег – всего тысяч на десять-пятнадцать. Стали думать, откуда это все здесь и что делать с золотом.

Умница была Пелагея Мешкова, ничего не скажешь. Она рассудила так: сундуки чьи – неизвестно, только видно – не при последней покойной матушке игуменье спрятаны были, а лет сто назад. Навряд ли она знала о них. Слышно было, в войну с французами в двенадцатом году московские купчишки по скитам добро прятали. Может, спрятал кто, а взять забыл. Говорить

---

[1] *Уставщица* – скитница, ведающая религиозными службами, наблюдающая за выполнением обрядов.

[2] *Стая* – несколько изб в скиту под одной крышей, соединяемых обычно меж собой сенями или крытыми переходами.

теперь об этих сундуках не надо – пойдет спрос да говор: сколько сундуков, чего в них? И не поверят, что ничего. А это золото меж находчиками пополам, да дело с концом. Бог дал, Бог разделил, да и думать об этом забыл…

– Ладно уж… – согласилась нехотя тогда Мавра.

Вот как оно было на самом деле, да разве объяснишь людям…

– Так я спрашиваю, что ты сказал? – пуще прежнего закричал Клычков, потому что Воркутин испуганно молчал.

Но в эту минуту в залу вошел длинноногий, поджарый, как гончий пес, парень с красивым лицом – личный секретарь и помощник Аркадия Арсентьевича Клычкова Матвей Сажин. Он днем и ночью находился при своем хозяине.

Этого парня хорошо знали все, с кем в последние годы имел дело Клычков. Сажина побаивались и перед ним заискивали, потому что он мог при острой необходимости за «соответствующее уважение» оказать на своего всемогущего патрона то или другое влияние.

Сажин был совершенно трезв. Отличный городской костюм сидел на нем как влитой. Манжеты сверкали невиданной белизной. Тонкие черные усики брезгливо вздернулись.

– Ну, – повернулся к нему сердито Клычков. – Чего усами дрыгаешь? Говори.

– С горы просигналили, Аркадий Арсентьевич. Едут, значит…

– Слава богу, – кивнул Клычков, кажется даже довольный, что Сажин прервал неприятную сцену, и выпил еще один бокал коньяка с шампанским. – Веди прямо сюда.

Со всех сторон пьяно зашумели:

– К-кыто едет?

– Откуда?

– Еще поздравители, что ли?

– Припозднились, коли так, хе-хе!

– От радости ноги отнялись…

– Серафима Аркадьевна едут, – сказал Сажин и вышел.

У купцов, промышленников, лабазников от трехдневной пьянки туман в глазах, звон в голове. Первой сообразила, что к чему, Дунька Стелька, вскрикнула:

– Дочь твоя, Аркадий? Как же я?… Что же мне?… Неудобно!

Вскочила и заметалась было. Но Клычков ухватил ее за платье, бросил возле себя на стул:

– Сиди уж… Застеснялась! В обморок не упадет, не такова девка.

А под окнами брякнул меж тем колокольчик. Снова распахнулась дверь в залу, снова вошел Матвей Сажин, даже не вошел, а вскочил задом, попятился:

– Пра-ашу, прашу, Серафима Аркадьевна! Батюшка заждались. А также… и другие.

Другие, однако, даже не подозревали, что Аркадий Арсентьевич послал несколько дней назад людей в Екатеринбург, где третье лето подряд гостила у Мешковых его дочь.

Все притихли. Даже корчившиеся от изжоги на диванах приподнялись – всем было интересно поглядеть на единственную наследницу несчитаных миллионов Клычкова.

Она появилась в дверях, стремительно сбросила черную пыльную накидку на безукоризненный костюм Сажина, расталкивая пьяных, отбрасывая стулья, побежала к поднявшемуся навстречу отцу, повисла на шее, заболтала ногами в грязных дорожных сапожках из мягкой кожи.

– А это кто, батюшка? – спросила она, отпустив его шею и ткнув рукой в залу.

– А так… люди. Друзья мои. Вот гуляем на радостях…

Серафима Клычкова была хороша. Вся ее крепкая фигура дышала лесной таежной свежестью, немного диковатой силой.

Опомнившись, придя в себя, зашевелились, загалдели заводчики, купцы и прочие промышленные и торговые люди:

– Что и говорить…

– И такое сокровище скрывал от нас, Арсентьич…

– Одно слово – в отца дочка…

– Счастливый же ты, Аркадий Арсентьич…

– Я и толкую – чего тут говорить! Нечего…

– Нет, есть чего! – крикнул Клычков. Все смолкли. – Какое сегодня число?

– Слава богу, четырнадцатое августа.

– Так вот… – Клычков покачнулся, но успел схватиться за плечи дочери. Девушка тоже шатнулась, но удержала отца. – Так вот… объявите всем вы, деловые люди: августа четырнадцатого дня тыща девятьсот пятнадцатого года на благословенном Урале изволили стать и появиться новый золотопромышленник…

– Аркадий Арсентьевич Клычков, – подсказал ирбитский купец Прохор Воркутин, когда Клычков на секунду приостановился. – Ура Аркадию Арсенть…

– Не-ет!! – что есть силы заорал Клычков. – Серафима Аркадьевна Клычкова!! Вот теперь – ура-а!

Однако никто не закричал. Пьяная компания глядела на отца и дочь Клычковых осоловелыми глазами, ничего не понимая.

У Серафимы перехватило дыхание. Перехватило до того, что ее маленький носик побелел, а тонкие ноздри чуть подрагивали.

– Однако постой, Аркадий Арсентьевич, – выговорил наконец кто-то. – То есть как все понять-разуметь? Замуж, что ли, дочь выдаешь и рудники вроде бы за ее приданым…

– А ты попробуй посватайся, – вяло сказал Клычков и сел, начал ковырять вилкой в тарелке. – Если всего твоего капиталу на свадьбу-то не хватит, я добавлю уж.

– Так как же тогда понять?

– А так. Дочка в столице… в самом Петрограде… желаю, чтоб жила. И чтоб по всяким заграницам ездила. Золотые рудники дарю ей на шпильки и шляпки… Поняли? Скажите всем: Клычков Аркадий подарил дочери золотые рудники на карманные расходы. Пусть весь Урал знает! Вся Россия!! Вот. А об приданом другой разговор будет… когда время придет.

И опять в зале установилась тишина.

Ноздри Серафимы уже перестали дрожать, дышала теперь девушка легко и свободно. Она только что заметила сидящую рядом с отцом Дуньку Стельку и внимательно глядела на нее, чуть удивленно приподняв брови.

Клычков откинулся на стуле, повернулся к дочери, понял ее взгляд, махнул рукой:

– Это ничего, дочка, прогоню ее сегодня. Матвей, а Гаврила-то Казаков приехал?

– Гаврила! – тотчас крикнул стоявший у дверей Сажин.

Вошел кряжистый, угрюмого вида мужик, перекрестился двумя перстами, поклонился и молча встал рядом с Сажиным.

– Ты вот что, Гаврила. Будешь теперь не на медных, а на золотых рудниках главным управляющим.

Казаков опять молча поклонился.

– Семью перевезешь, будешь жить в этом доме. Понял? Для важности. Только скажи, чтоб диваны заменили.

Гаврила отвесил еще один поклон.

– Жалованья кладу вдвое против прежнего. Только чтоб держал у меня все тут! Как на медных…

Гаврила сверкнул глазами, глухо вымолвил:

– Уж будьте покойны, Аркадий Арсентьевич.

– Все рудники чтоб пустили к зиме. Сколь капиталу надо вложить – вложим. Ступай. Да скажи кабатчику – пусть запрет заведение. Хватит водку задаром жрать.

Гаврила поклонился в последний раз и ушел.

– Н-ну, дочка… – промолвил Клычков, встал, обвел мутными глазами разопревших, ошарашенных гостей. – Чего глазами лупаете? Завидуете? Н-ну-ка, кто из вас такой подарок дочери своей сделать может?

– Иван Андреевич Сорокин из Екатеринбурга может…

– Ха-ха, Сорокин! Я вас спрашиваю… То-то!.. Далеко драным воробьям до сорок, не то что до орлов. Н-но погодите, и Сорокин у меня на Печоре побывает, дайте время. И Сорокин будет мне «ура» кричать, как… П-постой, погодите-ка, разлюбезные мои! – вдруг зловеще протянул Клычков. – Да вы что, ув-в-важаемые мои гостенечки?! Это почто вы «ура» не прокричали дочери моей, как я желал, а?! Прошка-а! Воркутин, сын с-сукин! Ты почто не кричал, спрашиваю?!

– Так я, Аркадий Арсентьевич… От изумления голос перехватило. Я… ежели желаешь… – залепетал купец.

– Перехватило! – забушевал Клычков. – Сейчас тебя кондрашка перехватит! Матвейка! Сажин! Завтра же взыскать с него по всем векселям…

– Аркадий Арсентьевич, отец родной, – взмолился Воркутин, схватил руку Клычкова. – Разоришь ведь, по миру пустишь. Погоди маленько, я обернусь и все выплачу.

– А-а-а! – торжествующе закричал Клычков. И вдруг завернул на столе скатерть вместе с посудой, с бутылками, с закусками, сбросил ее на пол, схватил Серафиму, посадил ее на стол. – Тогда обмети пыль бородой с сапог моей дочери, обсоси всю грязь!

Клычков взял Воркутина правой рукой за шиворот, поставил на колени, левой схватил ногу дочери и ткнул в лицо ирбитскому торговцу.

– Целуй, в печенку тебя!! И… все остальные… по очереди. Матвейка! Глядеть у меня в оба! Об увильнувших доложишь завтра…

Сажин с разбегу вскочил на стол, стал рядом с Серафимой, вынул из кармана карандаш.

Девушка сперва пыталась было оттолкнуть старика Воркутина, но не смогла – тот уцепился уже за ее ногу, как клещ. А со всех сторон гремели стулья, слышался стеклянный хруст – люди, как бараны, толкая друг друга, старались пробиться к ней один вперед другого. И тогда… тогда она улыбнулась своими капризно-тонкими губами, чуть откинулась назад, уперлась в стол руками и, не переставая улыбаться, подставляла склоняющимся перед ней заводчикам, владельцам промыслов, торговых лабазов и контор попеременно то правую, то левую ногу…

Когда поднялся с колен последний купец, маленькие сапожки ее блестели, будто побывали у добросовестного чистильщика. Серафима внимательно оглядела их и повернула голову к Дуньке Стельке, которая сидела все время почти рядом, опершись локтями о стол, зажав голову руками.

– Ну а вы? – тихо спросила Серафима, будто даже с застенчивой улыбкой.

– Нет! Нет!! – вскрикнула Дунька, вскочила, побежала из залы.

Серафима проводила ее задумчивым взглядом голубых глаз.

– Ну а теперь гуляй дальше, господа! – объявил Клычков. – Душно тут. Матвейка, распорядись там – столы на двор, на зеленую травку, на воздух! А к вечеру баньку истопить – попаримся, чтоб отрезветь…

Вечером Серафима, освещенная последними лучами солнца, сидела на террасе дома. Внизу, на столах, уткнувшись в тарелки, и прямо на земле валялись, храпели, стонали перепившиеся вконец гости.

Усадьба дома была огорожена высоким штакетником. Недалеко, на берегу протекающей прямо на усадьбе речушки, выстаивалась уже натопленная баня.

Вскоре возле бани появился Гаврила Казаков с четырьмя здоровенными парнями, которых он привез с собой с медных рудников. Парни волокли упирающуюся Дуньку Стельку.

– Значит, так… – Гаврила потряс перед носом Дуньки кулаком. – Сейчас пропаривать гостей Аркадь Арсентьича будешь… Поработаешь – и домой. Кони уж приготовлены. Веники в кадках с квасом мокнут.

– Не буду, не буду! – орала Дунька, пытаясь вырваться.

– Еще чего! – прикрикнул Казаков. – Приказ самого Аркадь Арсентьевича. Гляди у меня, а то живо… платьишко сдернем – да в тайгу, на ужин комарам. У нас ить тут свои порядки.

Угроза сразу подействовала. Дунька, пошатываясь, вошла в баню. Вместе с нею вошли двое парней. А двое других принялись подбирать валявшихся по всей усадьбе гостей и волоком стаскивать в баню.

Серафима улыбнулась одними уголками губ и крикнула, чтоб ей принесли чаю с ее любимым малиновым вареньем.

4

Большереченское лежало в длинной неглубокой лощине. По самой сердцевине ее текла, виляя, маленькая, по колено, речушка, вдоль которой было разбросано сотни полторы домишек.

– Кто это громкое название такое дал селу? – спросила Серафима у Матвея Сажина, останавливаясь на берегу речушки, заросшей лопухами и осокой. – В насмешку, что ли?

– Не могу знать, – виновато ответил он и повернулся к обветренному домишку, стоявшему неподалеку от берега. – Эй! – крикнул Сажин двум мужикам, которые сидели возле дома за грубо сколоченным столиком и наблюдали за Серафимой и Сажиным. – Не скажете ли вы?

– Чего? – переспросил один из них, худой и рыжеволосый мужик. Несмотря на жару, он сидел в шапке и рваной тужурке – видимо, был болен.

– Оглохли, что ли? Отчего поселок так прозывается, спрашиваем.

Ответил, усмехнувшись, другой мужик, низкорослый, но плотный, с обвислыми седоватыми усами:

– А тут другая, большая река есть, по ей и сельцо кличуть. Тильки вам ее не увидеть…

– Что за такая река? Что за чушь городите? – возвысил голос Матвей Сажин.

– Река человеческих слез да горя, – пояснил рыжеволосый.

Сажин вздернул усики, растерянно глянул на Серафиму – угораздило же, мол, спросить их!

– Пойдемте, – сказала девушка.

– Да-да… Хамье, чего уж ожидать… – Но все-таки снова повернулся к мужикам, спросил строго: – Кто такие? Рудничные? Почему не на работе?

– Тут все либо рудничные, либо больничные, – ответил тот, что в шапке.

Откуда-то подскочил большереченский кабатчик, закрутился вокруг Серафимы и Сажина:

– Зря вы с ними, разве это люди? Смутьяны и баламуты. Тот, усатый, – Гришка, по прозвищу Кувалда. Хохол с Украины. А этот, рыжий, – Степка Грачев. За девятьсот пятый в тюрьме сидел, сюда из Сибири заявился. Бывший хозяин рудника хватил с ними горя. Одно слово – рвань…

– Пойдемте, – еще раз сказала Серафима и быстро зашагала прочь.

Случай этот не то чтобы произвел на Серафиму тяжелое впечатление – она бывала на некоторых рудниках и заводах отца, насмотрелась всякого, – но просто ей мучительно и остро захотелось обратно в губернский город, в Екатеринбург, где много шума, света, блеска, где есть у нее много знакомых – дочери и сыновья купцов Коробовых, владельцев огромных магазинов Мешковых, фабрикантов Казаровых.

Три года назад белица Настасья Мешкова, привезенная когда-то родителями на воспитание в обитель Мавры Клычковой, сговорила Серафиму поехать на лето в Екатеринбург к ним в гости. Серафима, всю жизнь прожившая в лесах, только по книжкам, по рассказам отца да подружки Настасьи знала, что такое город. Очень уж ей хотелось взглянуть на него. К тому же до тошноты опротивели ежедневные чтения божественных кафизм, бесконечные посты и те полторы тысячи «местных, средних и штилистовых» икон, что стояли в большом и малом придельных иконостасах, а также на полках по всем стенам обительской часовни. Игуменья обители, а ее родная тетка, имела особую слабость к двум вещам – к иконам и к пасхальной песне «Велия радость днесь в мире явися…». И поэтому она заставляла ее, Серафиму, наравне с другими белицами обители подолгу каждое утро петь заунывную «Велия радость…», а днем подолгу выстаивать в часовне под спускающимися с потолка паникадилами и созерцать лики святых. Частенько она устраивала своим послушницам строгие экзамены и очень сердилась,

если кто путал имена апостолов, пророков, праотцев, богородиц. И каждый раз не то стращала, не то сожалела, что скиты давно обветшали и порушились, что вот когда-то раньше в иных обителях бывало по три тысячи и даже много более икон. Свою мать Серафима не знала – та умерла во время родов.

Обительская жизнь опротивела Серафиме, но и спросить разрешения у тетки на поездку в гости к подруге не решалась. Знала, что не пустит.

И уговорила Настасью подождать приезда отца: тот души в ней не чает и – была уверена – не устоит перед любой ее просьбой.

Так и вышло. Едва отец уловил суть просьбы, сказал:

– Об чем речь! Давно пора. Нечего киснуть тут, показывайся, дочка, на людях.

– Окстись! – побелела тетка. – На срамные бритые подбородки глядеть! На поганых щепотников Никоновых…

– Ничего, пусть едет, – решительно сказал отец. – Я как раз тоже в Екатеринбург. Там попрошу Мешкова Никодима Осиповича – пусть по старой дружбе приглядит за дочкой. Да и вон твою прислужницу Мотрю снарядим для генерального руководства.

И Серафима поехала.

У Никодима Мешкова от старой веры, как и у Клычкова, осталась одна борода. Приезду своей Настасьи и дочери Аркадия Арсентьевича он обрадовался и после объятий сказал, подмигнув:

– Наша-то мать тоже редко теперь ладан в домашней келье жгет. А вам-то, раскрасавицы мои, и вовсе ни к чему вонючий дым глотать. Воспользуемся тем, что мать на Волгу к родным уехала, да поглядим на белый свет. Настенька, посылай-ка записочку дочерям Коробова, они уж заспрашивались про тебя. Шустрые девки у Коробова Анания, они тебе, Серафимушка, Екатеринбург наш славный снизу доверху покажут. А ты, Арсентьич, не беспокойся, в полной сохранности твоя дочка будет…

…Не заметила Серафима, как и лето пролетело. Шум, блеск и разливанное море радости с головой захлестнули ее. Вечера с танцами то у Мешковых, то у Коробовых, то еще, еще и еще у каких-то знакомых. Ложились спать на рассвете, а то и позже, завтракали в четыре дня, обедали в восемь-десять вечера. Сперва смешно и страшновато было – вот бы узнала тетка! – а потом понравилось. Модные губернские портнихи, катанье на лодках по Исети-реке. А один раз были даже на лошадиных скачках.

…На Печору вернулась Серафима поздней осенью. Настасья осталась в Екатеринбурге, отец более не пустил ее в скит.

Еле-еле дождалась весны и по первой дороге снова укатила на целое лето в Екатеринбург, несмотря на слезы и заклинания тетки.

В середине лета в городе появился отец. К Мешковым он почему-то не зашел, и Серафима решила повидаться с ним в гостинице, где он обычно квартировал.

Открыв дверь в номер, она ахнула: измятый, всклокоченный, в нижней рубахе навыпуск, отец стоял среди комнаты и махал откупоренной бутылкой, расплескивая вино. А вокруг него прыгали, кривлялись, визжали десятка полтора растрепанных, полуголых женщин.

Кроме них и отца, в комнате было еще несколько мужчин, среди которых она с удивлением заметила и Никодима Мешкова, и старика Коробова.

– А-а, дочка… – грустно как-то сказал отец. – Ну что же, и ладно. Не сегодня, так завтра узнала бы про это… Понимаешь, родимая моя, рано или поздно – все равно помирать. Так уж пожить хоть. Я всю жизнь в темных лесах просидел. Теперь наверстать хочу, взять от жизнюхи, что еще можно. И тебе… и тебя в Екатеринбург вот… зря, думаешь? Ты отца прости, пример с него не бери. Дурак он, отец твой. Но, доченька моя… Эх, да мы же Клычковы! Не имеем титулов да званий. Но пусть завидуют все нам, пусть удивляются все! Власти-то у нас, может, побольше, чем у иных высокопревосходительств! Власть не в чинах, а в деньгах. Помни это,

дочка… И – пользуйся! Пользуйся! Коротка жизнь-то. А я для тебя ничего не пожалею. Скоро Москву тебе покажу. Петроград… Эй, музыку для Клычковых!

Ударил оркестр, сгрудившись в дверях соседней комнаты; задребезжали стекла. Серафиме было муторно, противно, она хотела крикнуть отцу в лицо что-то обидное, резкое, повернуться и убежать, но… не крикнула почему-то, не повернулась, не побежала. Она постояла немного, внимательно оглядела притихших под ее взглядом мужчин и женщин и чуть скривила тонкие губы.

Потом медленно повернулась; опустив голову, пошла на улицу, не замечая почтительно поддерживающих ее на лестницах швейцаров, не замечая, как осторожно посадили ее на извозчика…

И снова, как в прошлое лето, бездумно и весело потекла ее жизнь, понеслась в сверкающем вихре. Отца она больше не видела, хотя раза два читала в газетах о его скандальных попойках в гостинице. Читала и… улыбалась про себя одними уголками губ.

Бездумье кончилось осенью, когда она снова оказалась в скиту. «Власть не в чинах, а в деньгах. Помни это, дочка… И – пользуйся! Пользуйся!» – начали и начали вдруг стучать в голове слова отца.

Власть… Что это такое? Как ею пользоваться?

Ведь и тетка, едва Серафима стала помнить себя, тоже все время толковала ей о власти. «Ты несмышленыш еще, а подрастешь – поймешь, какую тетка твоя власть над людьми держит. И на Печоре, и на Вычегде, и по всему Северному Уралу люди, хранящие в сердце своем пречистую веру Божью, знают и уважают игуменью Мавру. А за что? За то, что веру эту истовее других блюду. А вот помирать стану – обитель свою крепкую тебе передам. И чтобы власть твоя была не слабже, пропитывайся, доченька, духом Божьим, как снег вешней водой. Учись, как молитву Богу сотворить, как снадобье из трав лесных для хворого сварить, ибо мы, слуги Божьи, должны исцелять души и тела людские. Почаще читай Библию, пониже бей поклоны, и заранее пойдет о тебе удивление высокое, молва далекая. Я уж позабочуть об этом. И станешь после меня владычицей лесной, обретешь власть сильную – уж догадаешься, как ею пользоваться…»

Серафима, подрастая, видела, что тетка ее действительно обладает большой властью: каждое слово ее – закон не только в обители, во всем Черногорском скиту. Не замечала Серафима только, что год из года меняется к ней самой отношение всех окружающих. Сперва она просто баловницей была всей обители, люди говорили с ней легко и ласково. Эта ласковость сменялась постепенно услужливостью, почтительностью и, наконец, откровенным заискиванием. И если случалось ей выезжать куда из обители, люди, узнав, кто она такая, мгновенно преображались, смиренно и просяще как-то предлагали наперебой свои услуги.

Серафима привыкла все это принимать как должное, принимать, ни о чем не думая, не размышляя.

И может быть, поэтому она не замечала, что и в Екатеринбурге люди, узнав, что она дочь небезызвестного Аркадия Арсентьевича Клычкова, сразу становились внимательными и предупредительными.

И вот, вернувшись в скит, задумалась: что же такое – власть над людьми? Правда, мелькнула было об этом мысль впервые еще там, в гостинице, когда она, потрясенная открывшейся перед ней картиной, слушала отца, размахивающего бутылкой, плескавшего из нее вином на полуобнаженных вспотевших женщин. Где-то в груди пролился вдруг холодный, обжигающий ручеек, но тотчас иссяк, высох…

А едва переступила порог обители, с удивлением обнаружила, что ручеек этот окончательно не высох, что он снова засочился, сладко пощипывая внутри…

Таежная северная зима долгая. От молитв и бесконечных служб, от запаха трав, из которых тетка варила лекарства, Серафиму тошнило, и она, к ужасу тетки, перестала отправлять

службу, забросила и Библию, и псалтырь, и часовник и даже лампаду перестала зажигать в своей светлице.

А ручеек уже превратился в ручей, что-то размыл внутри мягкое и податливое, хлынул горячим потоком, затопив ее всю…

– Доченька, побойся Господа нашего, он не простит, – ныла тетка ежедневно. – Я ведь духовная матерь твоя. От счастья и власти – видано ли! – отворачиваешься, в мирские грехи погружаешься, как отец твой непутевый. Я ли тебя не готовила к приятию власти?! И святую песню нашу «Велия радость…» забыла. А ты спой-ка ее, спой и погляди, как разгладятся лики, тебе внимающие, какое благочестие разольется на них… А ты, греховодница, тетку в могилу кладешь! Ну, тетку – ладно… А от власти-то над людьми зачем отказываешься…

– Ах, отстаньте, ради бога! – резко говорила уже Серафима.

Что ей была теперь власть над обителью, над скитом или даже над всеми староверами Печоры и Вычегды! Она почувствовала, кажется, чем пахнет другая власть, о которой говорил отец, или стала догадываться, как она пахнет. Вон, к примеру, эти самые фабриканты Казаровы. Как же все это было?… Ну да, кажется, так. В позапрошлом году сразу же после приезда в Екатеринбург у этих самых Казаровых, с которыми в хорошем знакомстве состояли купцы Коробовы, был вечер. При знакомстве, в общей суматохе, старшая дочь Коробова отрекомендовала ее, Серафиму, так: «Это наша новая подружка Сима, приехала из лесов погостить к нам. Порядков здешних она не знает, так что уж повнимательнее к ней…»

Повнимательнее… А никто даже простой вежливости не оказал. Сидела весь вечер в уголке, как дура, а все козлами прыгали вокруг этих неповоротливых купеческих дочек. Лишь когда вышла подышать и успокоиться от обиды на балкон, сзади неслышно появился сын иссохшего, как гороховый стручок, старика Казарова Артамон, схватил за плечи начал тыкаться в щеки и шею мокрыми, горячими губами И в ответ на звонкую оплеуху прошипел, как гусак, втянув голову в плечи: «Ах ты… хамка лесная. Виноват-с… Не думал, что и к вам с обхождением надо…»

Глотая слезы, ушла с вечера.

А на другой день к Мешковым пожаловал Артамон и, краснея, просил у нее прощения. Затем приезжал сам Казаров, долго скрипел, извинялся, расшаркивался, невнятно бормоча что-то о своей личной неучтивости. Из всех его слов Серафима запомнила только: «Что ж вы сразу не сказали, что вы… Как же-с, знаем Аркадия Арсентьевича! Да и кто его не знает в здешних местах! Большой человек…»

Серафима простила, сама не понимая почему. Казаровы устроили в ее честь настоящий бал. Теперь долговязый Артамон крутился только вокруг нее. Все лето Артамон таскался по пятам, превращаясь иногда в самого обыкновенного лакея у всех на виду.

Обо всем этом размышляла дочь Аркадия Клычкова, отдыхая на берегу пруда после прогулки по селу.

Пруд был выкопан прямо на усадьбе владельца рудников, за баней, и наполнялся водой из речушки. Огромный, заросший густым камышом, он отражал высокие плывучие облака и казался бездонным.

Справа, метрах в десяти от скамейки, торчал из камышей нос какой-то лодки.

Серафима сидела на скамейке, глядела, как играет рыба. Но мысли были далеко. Скорей назад, в Екатеринбург! Вот уж вытянется и без того длинная рожа Артамона, когда узнает про отцов подарок! От лакейского усердия язык на ветру высушит. Да и все остальные знакомые и подруги только ахнут от удивления, присядут…

Но что ей теперь Екатеринбург? Впереди – Москва, Петроград! Обязательно, обязательно на следующий год – в столицу! А там, может, и в самом деле – Париж, Рим, заграница…

У Серафимы захватило дух, в груди сладко постанывало.

– Вот-с вы где, Серафима Аркадьевна! – раздался голос Матвея Сажина. – А я искал, искал… Договаривались на рудники поглядеть после обеда. Аркадий Арсентьевич разрешили сопровождать, как и утром…

Серафима досадливо поджала губы, промолчала. Сажин потоптался рядом, не решаясь сесть на скамейку.

– Я все эти дни хотел тебе сказать, Симушка… – выдавил он наконец, перейдя на «ты», – хотел сказать, что… э-э… заждались. А также рады видеть тебя… очень и безмерно.

– Кто? Батюшка, что ли?

– Батюшка. А также другие…

Серафиме стало смешно. И она откровенно захохотала.

Родители Матвея жили когда-то тоже в Черногорском скиту, но затем, не поделив что-то с бывшей до Мавры игуменьей, уехали в Сибирь. Когда настоятельницей стала тетка Серафимы, Парфен, глава семьи Сажиных, приехал в скит с молодым сыном Матвейкой, постоял несколько служб, повздыхал: как ни хорошо в Сибири, а тянет, тянет в родные места… Вернулся бы теперь с радостью, да хозяйство большое в Сибири, жалко зорить.

Так, вздыхая, и уехал, оставив в скиту Матвея для обучения божественным писаниям.

Учился Матвей под руководством Мавры прилежно. Вскоре он наизусть шпарил и часовник, и все двадцать кафизм псалтыря. Чернявый, похожий на девушку и лицом, и хрупкостью, он мог вместе с Серафимой да Настасьей справлять многие уставные службы.

И в те-то времена проскочила меж Серафимой и Матвеем, разрезала со свистом тугой воздух быстролетная ласточка, которая, по скитским преданиям, уносила на своих крыльях покой парня и девушки…

– Ой, ласта, ластушка крылом задела меня! – упав на грудь подружке своей, призналась Серафима, когда Настасья спросила, отчего она сумрачная такая да задумчивая, отчего сторониться, избегать стала Матвейку.

Ойкнула Настасья, поиграла от великого изумления да интереса глазами и сказала:

– Постой-ка… Я узнаю, задела ли она другим-то крылышком Матвейку… А, узнать?

Серафима перегорела вся огнем, но тихонько кивнула головой.

…Потом при помощи и под покровительством все той же разбитной Настасьи они, страшась не столько гнева Божьего, сколь матушкиного, передавали друг другу записочки. Затем стали встречаться тайком то в лопухах за часовней, то в темных пустых сенях, то еще в каком-либо укромном и безопасном местечке.

В одном таком скрытом уголке – густом-прегустом смородиннике – они в знойный июльский день неумело прижались губами к щекам друг друга и от стыда разбежались в разные стороны, оставив березовые туески, в которые собирали ягоды…

Чем бы кончилась их детская любовь – кто знает… Но однажды Матвея призвал к себе Аркадий Арсентьевич и сказал:

– Вот что, Матвей… Приглядываюсь к тебе – шустрый ты и грамотный. Пора, однако, к делу приучаться. Возьму-ка я тебя в доверенные секретари к себе. Делов у меня много, будешь помогать. К отцу в Сибирь я отписывал, он благословляет. Будешь служить честно и старательно – не обижу. Женю, придет пора, на дочери какого-нибудь тысячника, помогу собственное дело завести. Слышишь? А то и… вон дочка-то у меня растет… Чем не невеста?

Аркадий Арсентьевич был навеселе и про дочку сказал в шутку. Но Матвей воспринял это всерьез, припал к руке Клычкова.

…Теперь Матвей Сажин все время был в разъездах. Серафима сперва потосковала о нем, а потом, к своему удивлению, быстро успокоилась, стала забывать. И когда Матвей появился в обители, почувствовала себя неудобно, неуютно как-то, старалась не попадаться ему на глаза.

– Что это, Сима, ты… вроде будто я тебе чужой-незнакомый совсем? – спросил однажды Матвей. – А я очень даже вспоминал… И вообще…

– Да вы теперь такой занятый стали, – нехотя ответила Серафима.

– По своей ли воле я? Да и то сказать – батюшка твой не обидеть обещал… дело помочь завести. Вот я езжу с ним, присматриваюсь, приглядываюсь, как хозяинует он. Очень даже пригодится это мне… нам пригодится. Потому что я об тебе…

Серафиме стало скучно и тоскливо. Она махнула ему рукой и побежала, крикнув на ходу:

– Совсем забыла я… мы с Настасьей шелковый кошелек да опояску отцу вышиваем. Надо закончить, пока он в обители. А то вы живо укатите…

Серафима убежала, а Матвей растерянно потер ладонью подбородок, точно он чесался.

Серафиме же и дела теперь до Матвея было мало. А тут первая поездка в Екатеринбург, потом вторая… До Матвея ли уж и вовсе!

…Рыбы все играли в пруду, а Серафима все хохотала и хохотала.

– Тебе смешки, Сима, а мне слезы, – обиженно проговорил Сажин. – Неужели ты забыла все…

– Не называйте меня больше на «ты», – холодно и жестко сказала вдруг она. – Да и какая я вам Сима? Ничего я не забыла, а только… все, что было тогда, – это детство… Неужели не понимаете?…

Усики Матвея испуганно дрогнули. Щеки, нос и даже подбородок побелели.

– Сима… Серафима Аркадьевна…

И Сажин, как в прошлом году Артамон Казаров, рухнул перед ней на колени.

– Встаньте, еще увидят…

– Пусть видят… пусть! – плаксиво заныл Матвей, преданно заглядывая ей в глаза. – Ведь я тебя… я вас, Серафима Аркадьевна… я все эти годы об вас… И Аркадий Арсентьевич обещал… Завели бы свое дело. У меня жалованье за все годы целехонько… И помимо кое-чего имеется. Тем более теперь… Эти рудники… Хорошие рудники, тыщ до двухсот будут давать в год. Уж я наладил бы их… А, Серафима Аркадьевна?! Жили бы тут – горя не знали. А я бы для тебя… для вас… верней и понятливей собаки был. Я, помоги Бог развернуться, на руках носил бы тебя… и все, что ни пожелала, со дна доставал бы.

Серафима, сидя на скамейке, глядела на него своими голубыми глазами с любопытством.

– Понятливей собаки, говоришь? Со дна? – переспросила она.

– Серафима Аркадьевна! Ей-богу!

– Ну-ну… поглядим. Расшнуруй-ка. – И она приподняла ногу в ботинке с высоким голенищем.

– Зачем? – недоуменно спросил Матвей.

– Чего же ты?! – нетерпеливо проговорила девушка.

Сажин принялся расшнуровывать ботинок, Серафима сняла его, швырнула в пруд и молча подняла глаза на Матвея. Тот уже поднялся с колен, растерянно глядел то на исчезающие круги на воде, то на Серафиму.

– Так чего же ты, понятливый?! – опять усмехнулась Серафима. – Пока надо достать со дна только ботинок.

Сажин покрутился на месте. Серафима по-прежнему глядела на него с любопытством.

Матвей, согнувшись, как побитый, сделал несколько шагов к пруду и… бултыхнулся в воду в чем был.

Он долго барахтался в воде, нырял, всплывал на поверхность, отфыркивался и снова нырял.

Матвей Сажин отыскал-таки на дне ботинок, вылез на берег, перепачканный илом и тиной. Шатаясь, подошел к Серафиме, молча протянул его. Но Серафима снова усмехнулась:

– Что-то я не видела собак с руками…

Сажин, правда, помедлил. Но все-таки взял ботинок в зубы, снова опустился на колени…

Серафима вынула у него изо рта ботинок и вздрогнула, услышав хохот. Лодка, торчащая из камышей, дернулась и поплыла. В лодке сидел отец, на корме торчали две удочки.

– Ну, детки, испортили вы мне рыбалку! – громко и весело проговорил Клычков, выходя на берег там же, где только что выполз Сажин. – Я сидел, боясь удилищем взмахнуть. Зато уж…

Сажин, мокрый, вонючий, жалкий, не знал, куда деваться.

– Так как же, Матвейка, жениться хочешь? – со смехом спросил Клычков, опускаясь на скамейку.

– Аркадий Арсентьевич, благодетель, – пролепетал Сажин. – Я бы ей верой и правдой…

– Вижу. Слышишь, дочка? – повернулся к Серафиме Клычков, вытирая проступившие от душившего его смеха слезы. – Я бы еще посидел в лодке, да уж невтерпеж.

– Это ему еще заслужить надо, – сказала Серафима. И вдруг вспыхнул, зашатался в ее прищуренных глазах шальной огонь, она, чуть помедлив, прибавила: – А знаешь что, отпусти его, батюшка, в Екатеринбург со мной.

– То есть? – На лице Клычкова смешинки стали таять.

– А заслуживать будет, – чуть улыбнулась Серафима – Он, вишь, понятливый да исполнительный…

– Неудобно как-то – у девицы в лакеях мужик!

– Положим, в городе-то и другие лакеи найдутся. Матвей будет вроде телохранителя.

– А, Матвей? – повернулся теперь к нему Клычков. – И как же я без тебя, брат, буду?

– Аркадий Арсентьевич! Отец родной, я на все согласный. – Сажин опять готов был упасть на колени. – Вместо меня вы найдете кого-нибудь. А я бы уж Серафиме Аркадьевне с таким усердием… Волоса с ее головы не упало бы. Перед вами и Богом говорю… Люблю ее… И докажу. Всем поведением.

– Это вот и посмотрим еще, – с прежней улыбкой проговорила Серафима и, капризно взмахнув длинными ресницами, протянула: – Ну, батюшка, сам же говорил – коротка ведь жизнь…

– Эх, черт! – Клычков вскочил со скамейки. – Ну и дочка! Чую, кровь-то в тебе чья! Быть посему! Н-но, Матвейка, гляди у меня! И ежели что… гнев мой знаешь… И уж прямо говорю: в жены тогда ее взять можешь, а капиталу на приданое – фигу с маслом.

Поглядеть на свои рудники Серафима поехала на другой день. Сопровождал ее снова Матвей Сажин, со вчерашнего дня получивший новое «место».

Рудники находились примерно в полуверсте от села, в холмах, проросших густым лесом. Серафима легко шла по тропинке впереди Сажина. Матвей шагал сзади, нагруженный зонтами, галошами, плащами, так как весь день небо хмурилось, грозя дождем.

Скоро меж стволов завиднелось несколько построек, похожих на бараки.

– Пришли, что ли? – спросила Серафима.

– Вроде бы… Погодите, я сейчас. Там, не знаючи, легко провалиться в выработки.

В это время от ближнего барака послышались голоса, ругань, какой-то стон.

– Что это?! – воскликнула Серафима.

– Поглядим сейчас, – проговорил Сажин. – Теперь уж вы, Серафима Аркадьевна, следом за мной ступайте.

Когда подошли к бараку, Серафима невольно остановилась: перед ней на земле лежал окровавленный человек. Вокруг него толпились люди, и те четверо здоровенных парней, которые недавно стаскивали в баню гостей отца, отгоняли их прочь.

– Что здесь происходит? – поморщившись, спросила Серафима.

Из-под навеса, устроенного возле барака от дождя и солнца, вышел Гаврила Казаков, стряхнул крошки с бороды (он пил под навесом чай из самовара), чуть поклонился:

– Да вот в забое человека привалило. Не поостерегся. Сам виноват.

Со всех сторон закричали:

– Ты, управляющий, не выгораживайся…

– Больного человека в шахту погнал…

– И лес на крепи – одно гнилье…

– Кровопийцы проклятые!..

– Тихо! – во всю глотку гаркнул Казаков. – Знаем мы таких больных. Сами на работу не выходят, да еще других смущают разговорчиками. А вы, Серафима Аркадьевна, шли бы домой. Не женское тут дело… смотреть-то.

– Доктора ведь надо, – сказала Серафима. Желание осматривать рудники сразу пропало. – И перенесите его хоть в помещение куда-нибудь.

– Перенесем, – ответил Казаков. – И за доктором послано.

– Спасибо и за это, наша новая хозяюшка, – проговорил из толпы глухой голос. Серафима глянула – узнала вчерашнего усатого мужика, Григория Кувалду.

– Теперь-то видишь речку, по которой поселок наш прозывается? – пошевелился окровавленный человек, пытаясь сесть.

Серафима обернулась. На нее смотрел рыжеволосый, что сидел вчера за столом в шапке и рваной тужурке, – Степан Грачев.

Настроение у Серафимы окончательно испортилось.

– Перенесите в помещение, говорю! Слышите? Дождь же собирается, – еще раз сказала она и быстро пошла обратно в село.

…На другой же день, рано утром, наскоро простившись с отцом, Серафима уехала в Екатеринбург.

– Черта с два Гаврила послал за доктором! Знаю я его, – дорогой проговорил Матвей. – А этого мужика он, видно, специально в обрушивающийся забой послал. Не с одним десятком неугодных людишек так он… расправился.

– А если узнают про это… про такое власти-то?!

– Ну-у, не очень-то просто! Ан узнают – чего для Аркадь Арсентьевича власти! Подумаешь… Вся власть у него в кармане. И у вас самой теперь-то ее не меньше будет.

Глава 1

Было самое начало июня 1960 года.

Всю ночь над Зеленым Долом хлестал проливной дождь с грозой.

Весна стояла на редкость сухой и жаркой. Земля еще в середине мая взялась твердой коркой. Потом эта корка начала пузыриться, трескаться, сворачиваться жесткой и ломкой шелухой, которая под ногами рассыпалась в прах. Посевы желтели, кучерявились. На самых высоких местах пашни появились серовато-черные пролысины, которые даже при незначительном ветерке начинали куриться седой пылью.

Это были зловещие дымки. Каждый в деревне понимал: постоит еще неделю-другую такое пекло – «загорится» вся земля. Даже травы на заливных лугах, не успев отрасти, сникали и, обваренные до корней, сохли, жухли. Осокорь на утесе бессильно свесил ветви, точно старался коснуться ими живительных вод обмелевшей Светлихи, пока она совсем не пересохла.

И вдруг ночью, когда никто не ждал, с грохотом раскололось небо, ударил дождь. Холодный, освежающий, с ветром. Тяжелые дождевые струи, казалось, раздробят, выхлещут, выдавят в домах стекла, обильный ливень проломит деревянные крыши, прогнет железные…

Всю ночь Захар Большаков не мог уснуть. Несколько раз он ложился в постель, укрывался с головой. Вскоре отбрасывал одеяло, зажигал свет, брал с этажерки книгу. Но и читать не мог. Тогда вставал, принимался ходить от окна к окну, трогать ладонями холодные стекла, которые при вспышках молний были мутными, толстыми от потоков воды. На улице шумело, выло и грохотало.

Шел дождь. По радио обещали его неделю назад. И вот он шел. А Большаков все-таки не верил.

Перед рассветом он натянул дождевик, хлюпая в темноте по лужам, пошел к скотным дворам. Дождь гулко стучал по одеревенелому плащу, ветер пытался сорвать не только фуражку, но и отяжелевший дождевик.

Подойдя к телятнику, заметил у бревенчатой стены какого-то человека.

– Кто тут? – спросил Захар Захарович, останавливаясь, хотя спрашивать было не нужно. Захар не столько узнал, сколько догадался, что это Ирина Шатрова, телятница.

Председатель подошел и молча стал рядом, прижавшись спиной к стене. Дождь все равно мочил их, хлестал прямо в лицо. С усов Захара стекала вода.

Когда ночную темень просекала молния, над зареченским утесом четко и могуче вырисовывался громадный осокорь.

– Ты чего здесь? – снова проговорил председатель.

– Дядя Захар! – прошептала девушка и ткнулась мокрой головой ему в плечо. – Дождь ведь! Неужели это дождь?

И, не дожидаясь ответа, убежала в ревущую темноту.

Девушка убежала, а Захар Захарович помрачнел. Да, это был дождь. Ему радуется Иринка Шатрова, радуются все колхозники. Но никто из них не знает пока того, что знает он, Захар Большаков: в бумажке, присланной вчера из районного центра, черным по белому написано, что «обильные дожди предполагаются в течение всего июня и июля». Да если бы и знали, не обратили бы сейчас никакого внимания на это предположение – слишком долго ждали они дождя. Но он-то, Захар Большаков, не имеет права не обратить. Для нынешних хлебов затяжные дожди еще, может, и ничего, а как в непогоду заготавливать корма? Ведь в колхозе одних дойных коров более семисот. Да свиньи, да овцы, да лошади…

Председатель постоял несколько минут возле стены, вздохнул и успокоил себя: «Ну да ничего, прогноз прогнозом, а о затяжных дождях еще на воде вилами писано…»

Он заглянул по очереди во все скотные дворы, убедился, что соломенные крыши не протекают, в помещениях сухо, и пошел домой. «А перекрыть крыши давно пора уж, – подумал он. – Обветшали, а в телятнике совсем худая. Еще один такой дождь – и прольет…»

Скинув у порога грязные сапоги и мокрый дождевик, Захар Захарович, не зажигая света, прошел к кровати и прилег. Он понимал, что надо бы хоть часок-другой поспать, но сон его не брал, хотя веки налились свинцом.

Забылся он, когда шум дождя утих. Забылся вроде на секунду, но, когда открыл глаза, в окна били ослепительно-желтые солнечные лучи.

Кровать сына была пуста. Как вчера, как позавчера, как почти каждое утро за последние три года, она, аккуратно заправленная, сиротливо стояла у стенки. Мишка учился в районной десятилетке и сейчас сдавал экзамены на аттестат зрелости.

Захар Захарович улыбнулся каким-то своим мыслям, поправил подушку на кровати сына, провел ладонью по железной спинке, выпил стакан молока и пошел в контору.

Было рано, шестой час. Солнце уже плавало довольно высоко над омытой ночным ливнем землей в седых космах утреннего тумана.

Но раньше солнца встают летом в деревне люди. Контора была уже полна. Звонко кидал костяшки на счетах колхозный бухгалтер Зиновий Маркович. За своим столом сидел зоотехник. А за столом главного агронома Корнеева – бригадир первой бригады Устин Морозов. Видимо, Борис Дементьевич уехал по бригадам поглядеть, все ли поля захватил ночной дождь, в каком они состоянии.

И вокруг каждого стола толпились доярки, скотники, птичницы, механизаторы. Одни требовали выписать для коров комковой соли, другие – подкормки для свиней, кто-то настойчиво просил зоотехника сегодня же осмотреть бычка с белым пятном на лопатке, а два тракториста совали под нос Устину Морозову истершиеся поршневые кольца и настойчиво спрашивали:

– Это как? Можно с таким работать? Машину угробить, что ли? Вы куда смотрите? Ведь сенокос на носу…

– А я при чем тут? Спрашивайте у главного инженера, у председателя, – мотал широкой бородой Устин. – Где я вам возьму? Нету запасных частей.

– То-то же, что нету! У меня вон еще магнето ни к черту. Все обмотки попробивало. Ты бригадир – ты и беспокойся.

Разноголосый гул немного смолк, едва Большаков переступил порог.

– Здравствуйте, – сказал председатель.

– С добрым утречком!

– Здорово ночевали! – послышалось со всех сторон.

– А дождичек-то, Захарыч, а?

– Дождичек славный, – весело подтвердил Захар, направляясь в свой кабинет. – У животноводов как, все в порядке?

– Да смотря что. Коровники сухи, а вон Маньку-доярку насквозь промочило.

– Как же это ты? – спросил председатель у курносой девчонки в сереньком платье.

– Дык с Колькой, известное дело, за деревней шастала. Их и прихватило, – пояснил кто-то.

– Ну и шастала! – огрызнулась девчонка.

– Да нам что! Чихать ведь будешь от простуды. А так – на здоровье.

– «Здоровье»-то как раз ей и промочило. Головенку-то Колька ей своим пиджаком замотал…

Вместе со всеми смеялась и девушка-доярка. А отсмеявшись, проговорила:

– Ежели и промочило, высохну. А вот тебя, Данилка…

Остальных ее слов Захар не разобрал, потому что прошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Но девчонка, видно, насмерть убила чем-то своего обидчика, потому что контора снова вздрогнула от хохота, да такого, что даже Зиновий Маркович закричал, выйдя из себя:

– А, чтоб вас! Тут ведь бухгалтерия, а не какой-нибудь караван-сарай…

Оттого, что утреннее солнце весело проливалось в кабинет сразу через все окна, что ночью прошел долгожданный и хороший ливень, оттого, что скоро возвратится, закончив десятилетку, Мишка, и, наконец, оттого, что за дверью все еще плескался беззлобный, веселый смех, раздавались возбужденные голоса, – настроение председателя стало совсем хорошим. «Караван-сарай», – подумал он, вешая фуражку на гвоздь, и опять улыбнулся. Контора действительно была неудобной – его кабинет да гулкая общая комната, в которой размещался весь колхозный штаб. Скоро будет новое помещение под контору. Но все равно ведь бухгалтер будет называть ее по привычке «караван-сараем».

Зиновий Маркович из эвакуированных в годы войны. В молодости он жил где-то в Таджикистане.

Каждый рабочий день Захара Захаровича начинался с одного и того же: он приходил в контору, садился за стол, к нему гурьбой вваливались люди для подписи разных счетов, распоряжений, ведомостей, накладных. Большаков сам установил такой порядок и даже с удовольствием подписывал бумаги и прикладывал к ним печати. Люди затем получали в кладовых по этим документам продукты, соль, комбикорм, различные материалы – словом, все то, что было необходимо для жизнедеятельности огромного хозяйства. И всегда, хотя Большаков воевал давным-давно, только в Гражданскую, это чем-то напоминало ему выдачу боеприпасов перед очередным боем.

Вот и сейчас, едва повесил фуражку, дверь распахнулась, толпой ввалились люди, обступили еще пустой стол. Когда Захар сел на свое место, перед ним легли первые документы. Но Большаков на этот раз отодвинул их, взялся за телефон:

– Алло! Дайте Ручьевку… Как занято?… Тогда пятую бригаду… Ага, я… А потом следом четвертую… Что, навстречу звонит? Так я и говорю – давайте… Игнат Прохорович, доброе утро! Как у тебя?

Игнат Прохорович Круглов, бригадир второй бригады, гудел в трубке:

– Захарыч, здорово! Доброе, доброе утро у нас! Об чем и докладываю.

– Все поля захватило?

– Все. Накрыло, как широким одеялом. Помочило добре, дороги вот только развезло, машины по самые кузова вязнут. Тут Корнеев появился, так последние километры до нас пешком пришлось, бедняге. Мы его на подводу пересадили, в бригаду к Горбатенке направился.

– Коровники как?

– Ничего, выдержали. В свинарнике у нас только покапало маленько. Да свинья ничего, грязь любит. В общем, перекроем на днях свежей соломкой. Слушай, Захар Захарыч, у нас тут два комбайновых мотора никак не идут. И коленчатый вал у одного С-80.

– Что с ними? Может, главного инженера подослать? – спросил Большаков.

– Да нет, в нашей самодельной мастерской с ними ничего не сделаешь. Надо везти в вашу механическую. Подсохнет маленько дорога – я отправлю к вам ребят.

– Ладно, давай.

Председатель помолчал, пощипал пальцами усы, похожие на толстую подкову.

Затем по очереди Захар поговорил с третьей, четвертой и пятой бригадами. Дождь прошел везде, и везде было все в порядке.

Наконец председатель принялся за бумаги.

Когда последняя накладная была подписана, в кабинет в ту же секунду вошел Зиновий Маркович. Так повторялось каждое утро. Захар когда-то пытался узнать, каким чутьем бухгалтер угадывал эту секунду, но давным-давно отказался от своего бесполезного желания.

Бухгалтер входил в кабинет независимо от того, были у него дела к председателю или нет. Своей очереди он не уступал никому, даже если кто-то являлся с самым неотложным делом. «Мало ли что, – заявлял он всякому. – А финансы есть финансы. Если у меня нет к председателю дел, возможно, у председателя есть ко мне».

Сегодня дела были и у того и у другого. Еще вчера они решили: нынче утром оформить счета кирпичного завода, райпромкомбината, оплатить кооперации стоимость ста тонн цемента и двенадцати тонн водопроводных труб.

– Вот, – положил бухгалтер перед Большаковым денежные документы. – Ровным счетом – девяносто тысяч триста сорок два рубля восемьдесят две копейки. Сейчас позавтракаю и поеду в район производить расчеты.

Захар поворошил документы, задумался, глядя в окно. Там, примерно в полукилометре от конторы, на высоком холме штабелями навалены доски, груды красных, облитых ночным ливнем кирпичей. Все это было приготовлено для строительства водонапорной башни.

На животноводческие фермы Зеленого Дола водопровод был проведен давно. Но воду качали почти для каждой фермы отдельно. Как поить скот – так и качать. Электромоторы и насосы давно поизносились. Водопроводные трубы, проржавевшие за много лет, часто лопались, особенно зимой, и тоже требовали замены. А это удовольствие недешевенькое.

Строительство мощного колхозного водопровода, который дал бы воду не только на все фермы, но и в дома колхозников, – давнишняя мечта Большакова. Прошедшей зимой подсчитали, сколько будет стоить замена старых моторов, труб, насосов и сколько – строительство нового водопровода. Результат вышел далеко не в пользу нового. И все-таки решили его строить.

Пока заложили только фундамент водонапорной башни. И вот этот цемент, кирпич, трубы, за которые надо было платить сейчас же деньги, тоже предназначались для водопровода.

Захар вздохнул, еще раз поворошил лежащие перед ним бумаги.

– Сколько у нас, Зиновий Маркович, всего на счету?

– А сколько? Остается на сегодняшний день десять тысяч двести два рубля тридцать восемь копеек, – без всякой запинки ответил старый бухгалтер.

– А поступления какие ожидаются?

– Так тебе, Захарыч, лучше знать. Молоко сдаем. Скоро зелень пойдет, огурчики там, у Клавдии Никулиной, уже зацветают.

– Это еще не скоро, – опять вздохнул председатель.

– Договора на продажу хлеба…

– Об договорах чего говорить! – перебил бухгалтера председатель. – Сперва вырастить хлеб надо.

За закрытой дверью послышались голоса. Большаков знал – это пришли заведующий гаражом Сергеев, одновременно являющийся автомехаником, и колхозный прораб Иван Моторин.

– Отойдите от кабинета, не мешайте. У Захар Захарыча Зиновий Маркович, – строго предупредил девичий голосок.

Этого предупреждения счетовода всегда удостаивались только почему-то Сергеев с Моториным. И их прокуренные голоса всегда бубнили за дверью что-нибудь вроде: «Ты, дочка, знай себе сальду свою да бульду, а в настоящие дела не лезь. Занимают председателя по пустякам!»

Однако оба терпеливо ждали, пока выйдет из кабинета бухгалтер.

– Кстати, – сказал Большаков, прислушиваясь к голосам, – как там с автомашинами?

– Так по разнарядке нам только на третий квартал дают два самосвала и один ГАЗ.

– Я в финансовом смысле.

– А что смысл? Хорошо бы, конечно, заранее оплатить.

– Ну?

– А что «ну»? – по своей привычке переспросил бухгалтер. – На следующий месяц зажму все щелки, Захарыч, ты уж так и знай. И копейка не просочится.

– Что ж, – медленно проговорил Большаков, – пожалуй, действительно зажимай. Чем скорее за машины рассчитаемся, тем лучше. Только сперва вот что… Сперва надо нам в кооперации выкупить шифер. – Председатель собрал все бумаги, протянул их бухгалтеру. – Придется переделать все, Зиновий Маркович. Я вчера вечером договорился насчет шифера с райпотребсоюзом. Завтракай – и в район, забирай все, что там у них есть. Иначе другие заберут. На следующей неделе как хочешь, но чтоб и водопроводные материалы были оплачены. А потом уж и зажимай. Все.

…Заведующий гаражом с самого порога закричал о том, что еще неделя, ну от силы две – и его разорвут на части. Все требуют машин, а у него их всего с гулькин нос.

«Гулькин нос» выглядел все-таки довольно внушительно – за первой зеленодольской бригадой было закреплено двенадцать автомашин, не считая его, председательского, газика. Но Сергееву не давало покоя, что в Ручьевке, в бригаде Круглова, на две машины больше. И, зная о разнарядке, он шумел не без умысла.

– А ты не кричи, криком ничего не возьмешь, – остановил его Большаков. – Сказал тебе – из новых одну машину, может быть, дам, больше не получишь… Теперь – как дела у строителей?

Иван Моторин, щупленький, жилистый человек, лучший по всему колхозу плотник, столяр, печник, каменщик – да были ли строительные профессии, которыми он не владел бы в совершенстве? – заговорил спокойно, неторопливо:

– Сводка с фронта строительства обнадеживающая, Захарыч. В бригаде у Горбатенки на клуб можно прилаживать вывеску. Правда, застеклить окна надо, да старик Петрович захворал.

– Что с ним?

– Да ведь как сказать… – помялся Моторин. – Оно, может, и уважительная причина, может, нет. Дочку замуж выдавал.

– Что же, он единственный стекольщик в бригаде?

– Стекольщиков-то нашли бы. А вот такой нехитрый инструмент – алмаз – один на поселок. Петровичева собственность. Никому не доверяет старик. Вот и ждать приходится. Я к тому – купить бы алмазов штук десяток для колхоза.

Большаков вынул толстый блокнот со стертыми уже золотыми буквами «Делегат областной партконференции» и рядом с записями о токарных станках, комбайнах, тракторах сделал пометку об алмазах.

– Что там с коровником в бригаде Притворова? – спросил Захар, пряча блокнот.

– Стропила поставлены. Завтра крыть надо начинать. Опять соломой, что ли?

– Нет уж, хватит соломой баловаться. Вечером туда отправлю шифер. А с водопроводом так, Иван: снимай всех людей с башни, пусть сбрасывают сопревшую крышу с телятника. Тоже закроем шифером. Да потолок там погляди – его утеплить надо.

– Погляжу. А с водопроводом надолго?

– Прервемся на недельку.

Ровно в девять утра, когда начался рабочий день в райцентре, Большаков позвонил в Озерки секретарю райкома партии Григорьеву.

– Зашиться можем без запчастей, – говорил приглушенно председатель, поглядывая через окно вдоль залитой солнцем улицы. – Фонды, конечно, выбрали, да какие это фонды! Не поможет ли чем райком?

Невдалеке виднелся дом бригадира Устина Морозова. Из ворот вышла жена бригадира, старая Пистимея, на секунду остановилась, глянула по сторонам, потуже затянула светленький платочек под подбородком и, быстро перейдя дорогу, юркнула в переулок.

Большаков нахмурился. Он знал, куда направилась Пистимея.

– Да-да, я слушаю… – встрепенулся Захар Захарович. – Трудно?… Да я понимаю, что нелегко. Но что же делать? Сенокос на носу, а там уборка… Ага, спасибо… В городе будешь? Когда?… Знаешь что – давай и я подъеду. Вдвоем что-нибудь и наскребем, глядишь… Ага, попробую указать тебе самые добычливые мои места…

Положив трубку, Захар продолжал глядеть в окно, все так же хмурясь. По улице, прижимаясь к обочинам, обходя дождевые лужи, тащились несколько старушонок. Иные тыкали впереди себя, как слепые, костылями.

Миновав дом Морозовых, старухи ныряли в тот же переулок, что и Пистимея. Там, в конце переулка, в самом его тупике, стоял на краю деревни баптистский молитвенный дом.

Он был Захару, да и всем остальным, как бельмо на глазу. Сколько по поводу этого религиозного гнезда он выслушал едких замечаний, недвусмысленных намеков и шуток! Как совещание в районе, обязательно кто-нибудь в перерыве подденет Большакова. Конечно, говорили всегда ради шутки, беззлобно. Но тем не менее шутили, смеялись. А что Захар Большаков мог поделать с молитвенным домом?! Он стоял – и все. Вот уже полтора десятка лет.

До революции в Зеленом Доле была только православная церковь. Однако среди деревенских старух было и около десятка баптисток. До самого окончания Гражданской войны их не было видно и слышно. Но однажды старая-престарая старушонка Федосья Лагуткина зашла в контору к Захару, постукивая костылем по деревянному полу.

– Вот, значит, сынок… по ентому я делу, получается… Православного-то попа вытурили вы, да и бог с ним. А поскольку баптисты теперь того… тоже разрешенные советской властью и поскольку опять же Богу-то легче благословлять не каждую овцу в отдельности, а все стадо Христово гуртом, мы, значит, и просим тебя, касатик, уж позаботиться…

Не скоро, не враз понял Захар, что старуха просит ни более ни менее как похлопотать об открытии баптистского молитвенного дома. А поняв, выпроводил старуху ни с чем.

Выпроводил – и забыл как-то об этом случае. Да и вообще не придавал большого значения деревенским религиозникам – мало ли осталось повсюду верующих, в Озерках вон православная церквушка до сих пор действует, многие зеленодольские старушонки иногда ездят туда молиться. Баптисты же поют молитвы дома, собираясь то на одной квартире, то на другой.

Так прошло немало лет, началась и почти прошла Отечественная.

И вот раз, другой, третий их песнопения стали доноситься из одного и того же полуразрушившегося дома, принадлежащего родственнице той самой Федосьи Лагуткиной. А потом оттуда на всю деревню посыпался стук топоров. Захар подвернул в глухой переулок на ходке полюбопытствовать, что за ремонт затеяла старуха.

Однако возле дома его встретила не Лагуткина, а жена ушедшего на фронт бригадира Устина Морозова, Пистимея:

– Вот, Захар Захарыч… Мы, значит, в Совет писали, в Москву… Нам и разрешили.

– В какой Совет? Чего разрешили? – не понял Большаков.

Несколько расторопных, незнакомых Захару плотников меж тем ловко отдирали полусгнившие тесины с крыши, выворачивали старые, трухлявые оконные коробки и тут же выстругивали новые.

– Так в Совет по религиозным культам. Какой, слава богу, при правительстве организовался недавно. А то ведь несправедливо как-то. У православных есть свое начальство, а мы-то, баптисты, словно сироты какие. И заступиться за нас некому. А теперь-то… Разрешили вот, говорю, в общинку нам собраться и молитвенный дом открыть. Мы сложились да купили этот домишко. Неказистый, правда. А ничего, подправим его. А ты… ты спроси там, в райисполкоме, – там бумага насчет нас имеется…

И ему, Большакову, оставалось только усмехнуться.

– Кончилось, значит, сиротство ваше? Воскресли родители? – невесело спросил он.

– Ты… об чем это? – сухо промолвила Пистимея тусклым голосом.

– Да-а…

Не понимал, не мог никак взять в толк Большаков, что же происходит в стране с религиозниками. В середине войны вдруг начали расти по деревням как грибы всякие религиозные общины, открываться церквушки и молитвенные дома. В 1943 году при Совете министров СССР был создан Совет по делам Русской православной церкви, а в 1944-м еще один Совет – по делам религиозных культов. Оба Совета, словно наперебой, еще усиленнее принялись плодить по всей стране общины и секты. И нельзя, невозможно было помешать этому. Захар даже удивлялся: как это Бог миловал их деревню. И вот…

Поразило в тот день его еще одно обстоятельство. «Мы-то, баптисты, словно сироты…» – сказала Пистимея.

– Как же это так? – спросил у нее Захар. – Что ты верующая, я знаю. Но ведь ты, кажется, православной веры…

– Так что вера? Христос-то один… А и дитю малому все глуби да глуби раскрываются, ежели с усердием науки учит, – как-то туманно ответила Пистимея. – А мы, сказываю, по закону все. Бумага, говорю, есть.

«Бумага» в райисполкоме действительно была. Но когда Большаков заметил, что нелишне было хотя бы поставить председателя колхоза в известность об этой «бумаге», ему ответили:

– Религия – деликатное, знаете ли, дело. Особенно сейчас, в военное время. И верующие, знаете ли… не те уже… не прежние религиозные мракобесы. Христианство в СССР проповедует сейчас и воспитывает любовь к народу, патриотизм, ненависть к немецким фашистам. Зайдите-ка в нашу озерскую церковь хотя бы. Все молитвы верующих – о ниспослании нам победы…

– Вот тут-то и богомольцам надо кое-что разъяснить… Победу пошлет не Бог, а сам народ только может ее…

– Слушайте! Мы не можем сейчас отталкивать от себя верующих. Понимать же надо! И, кроме того… Ну вот хотя бы у вас в колхозе. Разве верующие сейчас трудятся хуже, чем атеисты?

Это была, пожалуй, правда – верующие работали нисколько не хуже. Та же Пистимея Морозова дни и ночи хлесталась на полях, на фермах. Куда бы Захар ни ставил ее, она делала дело молчком, но добросовестно, не жалуясь на усталость, хотя временами чуть не падала с ног. Захар даже слышал несколько раз, как Пистимея подбадривала измотавшихся вконец баб, мягко, по-женски напоминая, что мужьям-то на фронте потяжельше да пожарче. «Ничего уж, – говорила она. – Надо ведь. А за молитвой уж отдохнем душой и телом…»

– Так что не обижайте там ваших верующих. Само собой, конечно, присматривайте за ними. Чтоб, знаете ли, ничего такого…

На этом и закончился разговор в райисполкоме. Закончился, в сущности, ничем, потому что Захар так и не уразумел тогда, в чем была суть религиозной политики. Он не обижал верующих, как ему советовали. Он присматривал за ними.

«Ничего такого» за все годы, кажется, не произошло. Только вот молитвенный дом, аккуратненький, чистенький, всегда со свежепокрашенными голубыми наличниками, напоминал чем-то пасхальное яичко и вызывал теперь сильнее, чем когда бы то ни было, тошноту.

Проводив взглядом старух, Большаков вытряхнул пепельницу в мусорную корзину, прибрал на столе бумаги, закрыл металлическим колпачком стеклянную чернильницу и пошел на берег речки.

Уже много-много лет подряд Захар каждое утро перед завтраком купался в холодной, прозрачной Светлихе.

Не изменил он этому правилу и сегодня.

Тело обожгло, ошпарило, едва он кинулся с головой в воду. Покрякивая и отфыркиваясь, Захар доплыл почти до середины реки. Хотя течение и было слабеньким, совсем незаметным, его все же порядочно снесло вниз. Тогда он лег против струи и еще энергичнее заработал руками, с удовольствием ощущая, как прохладные волны обтекают плечи, грудь, ноги.

И, только поравнявшись с огромным валуном, возле которого всегда раздевался, повернул к берегу.

Когда выбрался на теплую, успевшую нагреться под солнцем гальку, от его крепкого, загорелого тела шел пар. Все мышцы, размятые во время купания, еще подрагивали, а сероватые глаза поблескивали по-мальчишечьи задорно и хвастливо.

Что же, если бы не поседевшие голова и усы да не предательские морщины на лбу и возле глаз, вряд ли посторонний человек определил бы его возраст. Впрочем, стариком его и так никто до сих пор называть не решается… Мало ли отчего, в самом деле, могут изрезать лицо морщины и поседеть голова.

А между тем Захару Большакову шел шестьдесят пятый год.

Усевшись на гальку, Захар с удовольствием подставил солнцу уже и без того задубевшие от лучей плечи, закурил и стал смотреть на Светлиху.

Течет, переливаясь на солнце, течет, не иссякая, эта удивительная таежная речка. Всякое видела она. Принимала когда-то в свои воды зарубленных колчаковцами зеленодольцев (самыми первыми приняла она теплым вечером родителей Марьи Вороновой да отца с матерью Захара Большакова), расстрелянных по окрестным деревням партизан, а то и живых, связанных по рукам и ногам людей, кружила их в омуте под утесом и несла трупы дальше, куда-то вниз. Не раз и не два окрашивались ее воды заревом пожарищ и теплой человеческой кровью.

Помнит все это Захар, помнит.

Но другое великое половодье, разлившееся тогда по всей стране, захватывало, переламывало и уносило всякую нечисть человеческую. Исчезли в горячем водовороте и зеленодольские «властелины» братья Меньшиковы, собиравшиеся стоять вечно на земле.

Из всего меньшиковского рода остались только дочь Филиппа Наталья да его жена. Жена после революции помутилась разумом и через несколько лет умерла.

Сперва Наталья дичилась немного людей. Но, видя, что к ней относятся все по-человечески, никто никогда даже не напомнит об отце, она повеселела, заулыбалась, как улыбается ромашка утреннему солнцу.

Наталья и по сей день живет в Зеленом Доле.

Когда организовали в селе колхоз, назвали его коротко и выразительно – «Рассвет». Колхозу понадобились пахотные земли. Корчевать было под силу только мелколесье, молодняк на бывшей гари. Не пожалели ни ельник, ни малинник. Захар сам подкапывал лопатой кусты и деревья, захлестывал их веревкой и погонял лошадь. Известно, какая была тогда техника.

И это помнится Захару. И многое-многое другое.

…По некрутой травянистой тропинке, вилявшей меж тальников и зарослей смородины, Захар поднимался в деревню. Потом заросли кончились, открылась небольшая луговина, сплошь покрытая разливом цветущих лютиков. Казалось, на землю просыпалась солнечная стружка и переливалась горячим пламенем, слепила глаза…

А само солнце поднималось все выше и выше, обливая землю желтым веселым цветом. Под его горячими лучами давно высохли разноцветные железные крыши домов, а тесовые еще дымились дрожащими дымками. Блестели разлитые по улицам дождевые лужи, отсвечивали черными, зелеными и золотистыми зеркалами тракторы, выстроившиеся возле ремонтной мастерской. Вспыхивали разноцветными огнями мокрые верхушки кедров, промытая дождем огородная зелень.

Захар любил ходить по своей деревне. Знакомая с детства до последнего плетня, она все вытягивалась и вытягивалась вдоль речки.

Когда-то строились беспорядочно, кто где хотел. Домишки торчали так и сяк, создавая впечатление неуютности и тесноты. В конце концов Захар самовольничать запретил, усадьбы застройщикам начал отводить лично. И постепенно улицы и переулки вытягивались, в деревне как-то стало просторнее и будто светлее. И, шагая по улицам, Большаков всегда прикидывал, как и когда убрать или передвинуть тот или иной домишко, поставленный когда-то не на месте, чтобы улица стала еще шире, еще ровнее, красивее.

Сейчас, направляясь к ремонтной мастерской. Захар ни о чем не думал. Больно заныла вдруг рука, покалеченная в далекий двадцатый год. Вроде вот и здоровьем Бог его не обделил, вроде есть еще и сила во всем теле – разве что уступит он только угрюмому заведующему конефермой Фролу Курганову (да ведь и то сказать – Фрол моложе его на пять лет), а рука в последнее время начинает побаливать все чаще. Что ж, годы идут, и вскоре, видно, придется оставить ему это баловство – бороться каждое утро с течением Светлихи, как несколько лет назад бросил зимние купания в проруби. Теперь он осмеливается только, зло напарившись в бане, поваляться чуток в снегу. Да и то опасается уже простуды, тем же моментом ныряет в обжигающий банный пар.

В мастерской разносился грохот и лязг железа. Захар прошел на машинный двор, где стояли комбайны.

Людей он не увидел, зато издалека услышал голос:

– Шутки шутками, а это вопрос философский. И не оплеухой называется, а пощечиной. Один ученый, говорят, целую книгу об этом написал. Он вывел, значит, в этой книге два вывода. Первый: девичья пощечина пришла к нам из глубины веков, второй – пощечина вместе с любовью.

«Так и есть, – безошибочно определил Захар, – Митька Курганов баланду травит».

За комбайном раздался смех, кто-то спросил:

– Ты, Митяй, к щеке-то холодный компресс бы приложил. А за что она тебя?

– Милый ты мой! – воскликнул Митька. – За двадцать веков все человечество так и не могло даже толком установить, что же влияет на настроение женщины. А ты у меня спрашиваешь.

– Погоди, не перебивай. А что еще тот ученый пишет?

– Ну, дальше там всякие рассуждения и примеры, – продолжал Митька. – И даже очень любопытные. Оказывается, все мужчины рано или поздно подвергаются этой болезни под названием любовь. И девяносто девять процентов из них вот уже несколько тысячелетий получают пощечины…

За комбайном сдавленный смех и нетерпеливый возглас:

– Ну?

– Вот и ну! Тот ученый – добросовестный трудяга, брат. Он подсчитал, что если силу всех этих пощечин сложить, то получился бы та-акой удар, от которого Кавказские горы бы в пыль рассыпались… А-а, Захар Захарыч, привет! – как ни в чем не бывало воскликнул Митька, увидев председателя, незаметно сунул под каблук папиросу, вскочил.

Посмеиваясь, поднялись и другие ремонтники.

– Значит, рассыпались бы? – переспросил Захар.

– Так точно, Захар Захарыч. В пыль, – тряхнул Митька своим великолепным чубом. – А отсюда, значит, можно и нам, грешным, уж без труда определить стойкость и крепость мужской части человечества.

– Раздерут когда-нибудь девки твой чуб по волоску.

– Так каждой надо что-нибудь на память. Пожертвую уж.

– Ох, Митька, Митька! – покачал головой Захар. – Да вслед за чубом они и головешку твою расколотят. Про крепость Кавказских гор не знаю, а это уж как пить дать – разобьют.

– Верно, дядя Захар, – согласился вдруг Митька, понизив голос. – Лимит на эти оплеухи я давно перебрал, чувствую. И давненько прикидываю – как бы свой чуб подставить в руки одной тут… Пусть уж теребит каждый день.

– Жениться, что ль, надумал?

– Да вот… Почищусь морально с годик…

Захар прошел в кабинет заведующего мастерской.

В комнате, тоже пропахшей соляркой, сидели трое: сам заведующий Филимон Колесников – кряжистый, неповоротливый колхозник с огромными узловатыми руками, черный как ворон, бородатый бригадир первой бригады Устин Морозов и редактор районной газеты Смирнов. Несмотря на то что Смирнов был в дождевике, по выправке в нем сразу можно было узнать бывшего кадрового военного.

Перед Колесниковым лежала районная газета, но разговор шел не о районных делах.

– Мы, конечно, предлагаем эти американские базы убрать мирным способом, – говорил заведующий мастерской, внимательно рассматривая свои огромные кулачищи. – А не придется ли все же вот этими руками их ликвидировать? А, как ты думаешь, Петр Иваныч?

– Здравствуйте, – сказал Захар, цепляя фуражку на самодельную вешалку. – Все мировые проблемы обсуждаете?

– Да что же… Оно ведь невольно обсуждается, вроде бы само собой, – сказал Колесников.

– Я вот что заглянул, Филимон… К обеду должны из Ручьевки два больных комбайновых мотора подвезти и тракторный коленвал. Как у тебя, загрузно?

– Когда у нас незагрузно-то было? Да ведь чего поделаешь… А что с ними?

– Не знаю. Круглов говорит – что-то серьезное.

– Ладно, поглядим. – Колесников подвинул к себе толстую тетрадку, что-то долго выводил в ней, напряженно сосредоточась. – Так вот, значит, проблема-то какая, – продолжил он, отодвинув тетрадку. – Как, спрашиваю, думаешь, Петр Иваныч?

– Тебе сколько лет, Филимон Денисыч? – спросил вместо ответа Смирнов.

– С десятого года я. Аккурат осенью круглую половину простукнет.

– Сколько из них воевал?

– Да сколько… Всю Отечественную, как и ты, чуть ли не день в день отшагал.

– И как думаешь, не хватит с тебя?

Филимон вздохнул глубоко, протянул руку за кисетом к Устину Морозову, который крутил самокрутку, просыпая на могучие колени, обтянутые засаленными штанами, табачные крошки.

– По-человечески сказать – вроде бы хватит. И ежели еще по совести – какой с меня солдат! Мне вечно говорили, что я в строю как корова в конском ряду. Мне этими руками, – и Филимон покрутил в воздухе широкой, как лопата, ладонью, – мне этими руками привычнее вилы держать или там лопату, гаечный ключ… Да ведь не согласятся они на разоружение, на добровольное ликвидирование этих баз.

– Как же, не затем строили, – усмехнулся в бороду Устин, принимая обратно свой кисет, тоже засаленный, как штаны.

– А война что же – кому она нужна, – промолвил Колесников, зажигая папиросу.

Большаков присел рядом со Смирновым и сказал:

– Может, и есть такие, кому нужна.

В кабинете установилась тишина. Только Устин уронил, качнув головой:

– Это кому же?

Редактор газеты смотрел на председателя не мигая, чуть прищурив глаза. Филимон Колесников полез было зачем-то в стол, но передумал и осторожно задвинул ящик.

– Я так мир понимаю, – продолжал Большаков. – Мироедов мы придавили намертво. А те из них, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели

и уж не осмелились оттуда выползти. Большинство из них подохло там без воздуха, от тесноты да собственной обиды. А может, кто и по сей день жив. Живет, как сверчок, да исходит гнилым скрипом в иссохший кулачок. Все ждет – не наступит ли его время, все надеется…

Под Устином Морозовым затрещал стул, он приподнялся и раздавил в металлической пепельнице, стоявшей на столе перед Колесниковым, окурок. Но тут же снова вытащил кисет и проговорил:

– Не осталось уж таких. На что таким надеяться?

– А вот на американскую бомбу хотя бы, – сказал Захар.

Редактор газеты проговорил:

– Такие, пожалуй, еще сохранились кое-где. Во всяком случае, в войну их было порядочно. По деревням то староста, то полицай объявлялся из таких. Многих мы переловили. А вот одного…

Голос у Смирнова вдруг перехватило, он встал, подошел к единственному в комнатушке окну и с минуту постоял, глядя на прибитую ночным ливнем, мокрую еще траву вдоль заборов. Потом продолжал, не оборачиваясь:

– А одного вот старосту не успел я поймать. В моей родной деревне всю оккупацию свирепствовал, всю мою семью погубил – отца, мать, невесту… А ведь мой батальон брал деревню. Улизнул, сволочь…

– Эк, жалко! – согласился Морозов. – Как же ты!

– Так вот. Сам я был тяжело ранен, в сознание пришел, когда уж…

– Что ж, может, и в самом деле живут где еще такие, – проговорил Морозов. Он сидел в своей любимой позе – согнувшись, облокотясь на колени, разглядывая крашеный пол между ног. – Как невесту-то звали?

– Хорошее было у нее имя – Полина.

– Поля, значит? И правда хорошее, – просто сказал Морозов, чуть качнув головой.

Еще раз установилось в кабинете молчание. Филимон свернул газету, положил ее на стопку других газет, лежащих на этажерке возле стола.

Председатель проговорил:

– Не сомневайся, Устин, есть такие. Вот были у нас в деревне кулаки – братья Меньшиковы. Ты, конечно, не знаешь их. А Филимон, однако, помнит.

– Слышать слышал. А вспомнить чего-то не могу, – сказал Колесников. – Мал, видно, еще был.

– Зато я их до последнего своего дня не забуду. Уползли куда-то после двадцатого года, скрылись. И кто знает, может, живы еще. Старшему, Филиппу, лет восемьдесят, правда, теперь, да ведь и по сто, и больше люди живут. А младшему, Демиду, где-то за шестьдесят всего. Он моложе меня, кажется, года на два. Во время войны оба еще находились в силе и, может… может, говорю, в твоей деревне, Петр Иваныч, кто-то из их породы…

– Может быть, – негромко промолвил Смирнов.

Филимон Колесников глянул в окно:

– Иришка Шатрова, кажись, идет сюда.

Захар Большаков при имени Ирины машинально встал, снял с вешалки пропыленную фуражку.

– Эх, черт, не улизнешь теперь! – с досадой проговорил он. – Далеко она там?

– Вон подходит, – ответил Колесников. – Теперь где уж улизнуть… Да может, и не к тебе она.

Но Ирина Шатрова шла к председателю.

Сноп солнечных лучей, бивших через окно, перерезал надвое кабинетик Колесникова. Переступив порог, девушка, маленькая и тоненькая, настолько тоненькая, что казалось, вот-вот переломится, стояла, облитая этими лучами, и не то щурилась, не то улыбалась. Солнце

отсвечивало на ее гладко зачесанных волосах, переливалось зелеными, голубыми, ярко-розовыми искрами на ее простенькой, дешевой брошке, закалывающей вырез платья, насквозь пронизывало это самое легонькое ситцевое платьишко, ясно обозначая чуть длинноватые по-девчоночьи ноги. Она, конечно, не знала этого, не догадывалась, а если бы догадалась, то сейчас же смутилась бы устремленных на нее четырех пар мужских глаз. А сидящие в кабинете пожилые и просто старые мужчины смотрели на нее не отрываясь. Казалось, она зашла сюда не из мира сего, явилась не из той жизни, которая шумит за окнами, и вот если бы сейчас потухли солнечные лучи, девушка исчезла бы навсегда вместе с ними.

– Фу, а накурили-то! Лодку пустить, так поплывет! – воскликнула она, подбежала к закрытому окну и распахнула его.

Но очевидно, один из четырех мужчин смотрел на девушку пристальнее, чем остальные, девушка почувствовала это и живо обернулась:

– Ты чего, дядя Устин, так на меня глядишь?

Морозов медленно опустил черные, как закопченное стекло, глаза, опять согнулся и облокотился о свои засаленные колени.

– Да мы все на тебя смотрим, – сказал Захар. – Больно уж ты сейчас была красивая.

Ирина, обернувшись к председателю, воскликнула:

– А ты не на меня, ты лучше в окно посмотри, дядя Захар. И если ты… если не разучился еще красоту понимать… – Ирина Шатрова не договорила, указала рукой в окно.

Через оконный проем виднелся переулок, не очень широкий, но прямой, с аккуратными палисадниками. В каждом из них были разбиты цветнички.

Еще не расцветшие, омытые ночным дождем георгины и гладиолусы покачивались на клумбах, роняя на сырую землю прозрачные капли. Построенные весной деревянные тротуары, высыхая под горячим солнцем, дымились, как и крыши домов.

Председатель колхоза, не вставая, невольно взглянул в окно:

– Ну смотрю…

– Красиво?

– Ничего.

Ирина чуть не до крови закусила губу.

– А это?

– Что? – переспросил Большаков.

– Да грузовик-грязевик ваш!

По чистенькому переулку к мастерской действительно шел пятитонный грузовик, глубоко врезаясь колесами в раскисшую дорогу, брызгая во все стороны ошметками грязи.

Автомашина проехала, оставив после себя две глубокие колеи. На тротуарах лежали комья мокрой земли, палисаднички тоже были заляпаны. Переулок сразу потерял свой привлекательный и свежий вид.

– Ну? – торжественно произнесла Ирина, тряхнув головой.

– Высохнет, – проговорил Захар и посмотрел на сидевших в кабинете так, словно просил поддержки.

– Грязь не сало, конечно. Обсыпается, – произнес Морозов.

Колесников ничего не сказал, только двинул неопределенно плечами. Редактор же газеты с любопытством посматривал то на девушку, то на председателя колхоза.

– Эх вы!.. Петр Иванович, вы только поглядите, какие они… – Губы Ирины задрожали, в карих глазах накопились слезы, готовые вот-вот пролиться.

– Ты погоди, погоди… – Захар встал. – Тротуары вон построили? Построили. И асфальтируем… И не одну улицу… со временем.

– Какие вы… толстокожие все! – с обидой и презрением бросила Ирина. – И ты, дядя Филимон, – повернулась она к Колесникову. – Ведь по этому переулку к твоей мастерской… и автомашины, и тракторы. Его в первую очередь надо…

Колесников поднял голову, тряхнул рыжеватой, тоже уже с проседью, копной жестких, как прутья, волос.

– Так ведь не отказывает председатель, калена штука… Ну что ты? – остановился он, видя, что Ирина презрительно усмехается.

– Ничего. Сказка есть такая. Должен был черт мужику. Приходит мужик за долгом, а черт: «Завтра отдам». На другой день удивляется: «Опять сегодня пришел? Я же сказал, что завтра». И так до сих пор…

– Вот что, Ирина-малина. Сказочка эта вроде не к месту, – сердито прервал девушку председатель. – Насколько помнится, в долг ты мне не давала…

– Да ты не мне, народу должен! – воскликнула Ирина, подступая к нему.

– Ну-у… – протянул Захар и развел в стороны руками, как бы говоря: «Против этого что же возразишь!» – Только сейчас не об асфальтах у меня голова болит. Видишь, какая погода стоит?! И вот. – Председатель вытащил из кармана какую-то бумажку, потряс перед носом Ирины. – Весь июнь и июль дожди обещают. А мокредь в сенокос…

Ирина выдернула у него бумажку и обеими руками положила ее на стол перед Колесниковым.

– Ты не отговаривайся, дядя Захар! Я вот и хочу, чтобы у нас в деревне грязи в непогоду не было.

– А-а!.. – устало отмахнулся Захар и нахлобучил фуражку, давая понять, что разговор окончен.

Эта Ирина Шатрова, как жаловался Захар, проела ему все печенки. То ей тротуары строй, то стеклянную, с золотыми буквами вывеску на колхозную контору в городе закажи, то поставь на общем собрании вопрос о палисадниках и цветочных клумбах под окнами колхозников. До смешного дошло – обсуждали ведь этот вопрос на собрании. Заставили пилорамщиков напилить для продажи колхозникам штакетника, а кладовщика – закупить голубой краски и цветочных семян. И все, чтоб избавиться от настырной девчонки. Сама весной ходила по домам и заставляла высаживать цветы… А теперь вот требует асфальтировать главную деревенскую улицу и переулок к мастерской! Это уж не цветочки…

Но жаловался так, для виду. В душе он был «настырной девчонкой» доволен. Асфальт не асфальт, а насыпать шоссейку вдоль хотя бы главных улиц надо. В деревне действительно грязно, после дождя так не пролезешь. Но сейчас главной проблемой в хозяйстве были не улицы, а корма. И даже пока не корма, а земли, на которых можно их выращивать. Уже второй год колхоз ведет раскорчевку тайги за Чертовым ущельем. Вот и нынче с самой весны чуть не половина тракторов занята на этой работе. И хороша же земля под тайгой, да трудно дается. За полтора сезона всего гектаров около семидесяти расчистили. К осени будет, кажется, вся сотня. На следующий год должна отличная кукуруза уродиться… Но что этой девчонке кукуруза! Ей вынь да положь сейчас же асфальт!

Ирина только в прошлом году окончила десятилетку. За время экзаменов похудела так, что остались одни глаза да косы. Зато привезла аттестат почти с одними пятерками.

– Э-э, как состругало тебя, цветочница! – улыбнулся Захар. – Для поправки ступай-ка на молокоприемный пункт. Раз любишь чистоту – заведуй нашей молоканкой. Вот там и разворачивай во всю ширь эту… санитарию с гигиеной…

Однако Шатрова не приняла ни его улыбки, ни его шутки.

– Я лучше в телятницы пойду, – заявила вдруг она.

– Почему? – удивился Большаков.

– Потому что телки дохнут у вас, как цыплята.

«Как цыплята» – сказано, конечно, чересчур. Но телки иногда падали, это верно.

Разговор происходил как раз на скотном дворе, и телятница Пистимея Морозова, жена бригадира, старуха ласковая, тощая и молчаливая, обиженно поджала губы.

– На все воля Божья. Человек мрет, а скот и подавно Господним перстом не защищен.

– Скот не перста требует, а ухода. А ты, бабушка-пресвитерша, больше в молитвенном доме сидишь…

Это было правдой. По три-четыре раза в неделю Пистимея проводила в молитвенном доме свои баптистские богослужения. Кроме того, чуть не каждую неделю праздновала то день рождения, то день крещения, то день бракосочетания дряхлых старушонок своей общины. А уж о Рождестве, Пасхе, Троице или Преображении и говорить нечего. В эти религиозные праздники для нее хоть подохни все телята… Хорошо еще, что она перед праздниками каждый раз приходила в контору и просила подмены.

Захар несколько раз пытался снять ее с телятниц, но старуха обижалась и чуть не плакала:

– Это как же, Захарыч… За что обижаешь?

– Да ведь от ваших молитв телята в весе не прибывают, – говорил каждый раз с раздражением Захар.

И каждый раз Пистимея отвечала:

– Вот-вот, ты всю жизнь шпыняешь Бога… и нас, весь молитвенный дом, грозишься раскатать. Да убудет ли, коли старушонки мои какую молитву прошепчут? Перемрем – тогда раскатывайте. А я ведь живу как? Молитву – Богу, а руки – людям. Какие ни есть, а все польза. Уж ты не строжись, а я старательней буду приглядывать за животинками.

На этот раз Пистимея, однако, не стала уговаривать оставить ее на работе. Она только оглядела с тоской свои руки, одна из которых была покалечена – указательный и средний пальцы на правой руке наполовину обрублены, – и произнесла:

– Одряхли, знать, совсем, проклятые. Отработали свое, кормилицы.

И пошла, сгорбившись, тяжело шаркая ногами. Шла так, что Захару даже жалко стало старуху.

– Считай, бабушка, что перст Господень распростерся и над скотом, – сказала ей вслед Иринка. И, почувствовав, что получилось это как-то грубовато, прибавила, оправдываясь: – Не люблю я ее…

Распростерся ли перст над беспомощными, тонконогими бычками и телками, защищала ли их теперь целая Божья длань, – во всяком случае, телки с тех пор не падали. И Захар только удивлялся: откуда берутся силы у этой хрупкой девчонки! Когда шел отел, она день и ночь пропадала в телятнике. В это время Ирина становилась раздражительной – лучше не приходи в ее царство без дела, из простого любопытства, – глаза ввалились, лицо бледнело.

Но чуть телята набирали силу, Ирина снова принималась за председателя, требовала чего-нибудь – например, заново покрасить облупившиеся ставни на колхозной конторе – и не отставала до тех пор, пока не добивалась своего.

…Нахлобучив фуражку, председатель опять присел на стул у стены и долго оглядывал Ирину с головы до ног. Оглядывал так, будто видел впервые. Ирина даже смутилась, отступила к окну:

– Ну чего ты, Захар Захарыч?…

– Да ты понимаешь, – Большаков постучал пальцами себя в лоб, – вот этим приспособлением соображаешь, сколько будет мороки с асфальтированием целой улицы!

– И верно, как это я не подумала! Еще вот с севом, дядя Захар, сколько этой мороки, особенно с уборкой каждую осень. Да и со скотом, если разобраться… И корма заготавливай, и коровники строй… И чего мы, в самом деле, себя мучаем!

– Ну! С таким ядовитым языком теща из тебя славная выйдет. Потолкли воду в ступе – и хватит. Пойдем, Устин, глянем на твои сенокосы.

И председатель пошел к выходу.

Колесников, Устин Морозов и редактор Смирнов тоже поднялись.

– А я говорю – не хватит! – воскликнула Ирина, загораживая дверь.

– Ты напрасно горячишься, калена ягода, – проговорил Филимон, подошел к Ирине и мягко отстранил ее от дверей. – Дорогу проложить – не половину застелить. Нынче об асфальте и говорить нечего…

– Нечего и на будущий год, – сказал председатель. – Шутка, что ли? Одна главная улица почти два километра длиной. Не до того сейчас. Да и где мы асфальт этот самый возьмем? Ты подумай-ка…

– Ну, пусть не асфальт, ладно. Давайте хоть булыжником замостим, – не сдавалась Ирина. – Камней не покупать, все берега Светлихи ими засыпаны. Бульдозеры свои. А я комсомольцев, всех ребят и девушек… Ночами работали бы… Все увидели бы, как… ну, как это нужно всем и… Дядя Захар! Давайте начнем нынче, а?

Морозов усмехнулся, проговорил тихо, с каким-то злорадством:

– Начать можно с криком, до середки дойти – с хрипом, да там и язык вывалить.

Все, кроме Ирины, вышли из конторы. Захар послал Устина Морозова запрягать лошадь: когда было не к спеху, Большаков предпочитал ездить на лошадях, так как в последние годы от автомобильного чада у него быстро разбаливалась голова, и повернулся к Смирнову:

– По каким делам у нас?

– Да вот о ремонтниках твоих хочу материал в газету дать. Как?

– Чего ж… Люди заслуживают. Где остановился? У Шатровых, конечно.

– У них.

– Ага… Может, по лугам хочешь проветриться? Поедем.

– С удовольствием бы, да… – Петр Иванович взялся за сердце. Несколько раз его скручивал у них в колхозе тяжелый недуг. – Чувствую, отдохнуть надо. Кажется, зря сегодня так рано поднялся.

– Так чего же ты! – нахмурил брови Захар. – Машину, может, надо? Мы сейчас… Филимон!

– Да нет, не беспокойтесь. Пока ничего страшного. До Шатровых дойду, недалеко. Отлежусь немного. Вечером загляну в контору.

Глава 2

Как бы потешаясь над незадачливыми предсказателями погоды, предупредившими о длительных и затяжных дождях, установилась знойная безветренная сушь. Целыми днями полыхало над головой солнце, сваривало огуречные листья на колхозных огородах, травы на лугах. За неделю солнце содрало, спустило лохмотьями кожу на деревенских ребятишках. Казалось, оно испепелило бы молодой зеленодольский люд начисто, если бы не прохладная Светлиха. С утра и до вечера ребятишки барахтались на отмелях, шныряли, как мальки, вокруг парома, доставляя немало хлопот старому паромщику Анисиму Шатрову.

Но Захара Большакова не покидало беспокойство. По многолетнему опыту он знал, что такое эта безветренная сушь в их краях.

И хотя после благодатного ливня не оправились еще как следует травы на лугах, хотя по-доброму с недельку-полторы им постоять бы еще, он бросил главные силы на заготовку кормов.

– Не раненько ли, Захарыч? – высказывали сомнение некоторые. – Через пяток дней укосы бы вдвое пошли. Эко, погодка!

– Валить травы как можно больше и без промедления стоговать! – отдал распоряжение Большаков.

Опустели деревни. На лугах загудели тракторы, затрещали сенокосилки, поднялись первые стога и скирды.

Зловещий прогноз погоды начал сбываться с опозданием ровно на две недели.

Сперва спала жара. Тотчас гудом загудели комары, не давая работать. Потом стало мутнеть небо, то и дело подхлестывал холодный, как осенью, ветерок.

Тучи так и не появились, а небо мутнело все больше, опускалось все ниже. Скрылось, словно провалилось в бездну, солнце, и начал падать на землю сеногной – мелкий-мелкий дождичек. Его еще называют «мокрец» или «сеянец». Он шел день, другой, неделю…

И великое зло брало людей. Шпарил бы уж настоящий дождь, а здесь не поймешь – не то туман, не то морось. Проглянет на часок-другой солнце, пригреет, припечет и опять утонет в серых клубах, поднимающихся над сенокосами. Эти ядовитые клубы словно выпирали друг из друга, множились с непостижимой быстротой, заваливая все небо.

Тогда Большаков прекратил сенокос во всех бригадах, перевел людей на силосование.

И вот силосные ямы и траншеи были заполнены. Остались лишь те, что предназначались под кукурузу. А погода не улучшалась.

Председатель собрал всех бригадиров: что делать? Трава на лугах местами начала вымокать, гнить на корню. Продолжать ли силосование или приберечь оставшиеся силосные емкости под кукурузу, которая обещает быть хорошей?

– Засилосовать-то все травы можно, да как же мы без сена будем? – говорили бригадиры. – На одном силосе не уедешь, белка в нем – кот наплакал, можно за зиму все животноводство угробить. Силос с сенцом хорошо.

Решили: легко ли, трудно ли, а косить травы на сено.

Захар Большаков каждый день отправлял на луга чуть не всех животноводов, полеводов, огородников и даже механизаторов, занятых в ремонтной мастерской и на раскорчевке леса. И что только не делали, с какого боку не подступались! Сушили накошенную траву на козлах, пробовали сметывать влажное сено в стога, пересыпая его солью. Островерхие зароды молчаливо и угрюмо стояли неделю, другую, а потом над ними начинали струиться зловещие парки. Зароды разбрасывали, вываливали черную, перегоревшую в труху сердцевину, снова пытались как-то сушить побуревшее уже сено, снова складывали. И опять через несколько дней стога принимались куриться прозрачными дымками.

– Тьфу! – то и дело в бессильном отчаянии плевал Андрон Овчинников, низкорослый и неразговорчивый колхозник.

– Н-да, – уныло отвечал ему всегда сутулый, с красным, как кирпич, лицом Егор Кузьмин, заведующий животноводством первой зеленодольской бригады.

– Что «н-да»? Для тебя ведь сено! – остервенело накидывался на него старый, тощий, как засохший кол, но крепкий еще на ногах мужичонка Илюшка Юргин, по прозвищу Купи-продай.

– А я что сделаю? – обиженно говорил Егор. – Я, между прочим, сено не ем.

– Ладно вам, – останавливала готовую было вспыхнуть ни из-за чего ссору Наталья Лукина, до замужества Меньшикова, та самая «дочерь Натаха», после рождения которой Филипп собирался разодрать жену надвое. – Отдохните лучше, чтобы искорки попритухли.

Клашка Никулина, тридцатисемилетняя, уже полнеющая женщина, произносила средь общего молчания:

– Нынче зандакаемся, однако. – Клашка так точно ухватила интонацию, с которой Кузьма произносил свое «н-да», что все засмеялись.

– Завтра будет солнышко. Вот увидите! Вот увидите! – старалась рассеять уныние мокрая как цыпленок Ирина Шатрова. Но она говорила это каждый день, и ей никто не верил.

Отдыхали подолгу. Женщины поправляли сбившиеся волосы, перевязывали отсыревшие платки, мужчины курили. Табачный дым мешался с серой водяной пылью, плавающей в воздухе, и был почти незаметен. Только заведующий конефермой Фрол Курганов не курил. Он обычно сидел где-нибудь в сторонке и, тяжело свесив почти совершенно белую голову, о чем-то угрюмо думал.

Не садился отдыхать лишь Антип Никулин, Клашкин отец. Он суетливо топтался меж людей и без конца нудно, тоскливо ныл:

– Вона, хлюпь-то, до зимы, может, будет! А в газетах хвастают – человек, дескать, спутник запустил, природу покорил. Этот, как его… газетный редактор, что к нам все с району ездит… Смирнов, что ли?… то и дело пишет через свою газету: человек может то, достиг этого… А чего достиг? Я подписчик районной газеты, поскольку там Зинка, моя младшая дочь, работает. Перед раскуркой читаю, конечно. И думаю: «Ты, мил человек, жену хоть сумей покорить, да хвастайся тогда. Или хлюпь под носом убери. А то – природа… Прыток больно…»

Своими разглагольствованиями Антип добивался того, что то один, то другой замахивался на него вилами. Старик, не обижаясь, переходил на другое место и начинал снова…

Захар Большаков снимал теперь людей откуда только было можно и посылал на луга. Совсем приостановил раскорчевку леса. В самом Зеленом Доле не раздавался теперь из мастерской лязг и грохот металла. Сиротливо лежали груды кирпичей вокруг только-только начатого строительства водонапорной башни, все более чернели с каждым днем штабеля плах и теса.

Новую контору с недостеленными полами и не покрашенной еще железной крышей замкнули от вездесущих ребятишек на замок (внутри много сухих стружек, долго ли до греха). Даже дряхлых набожных старушонок председатель попросил взять грабли и хотя бы сидя разгребать помаленьку сырые валки. Анисим Шатров накрепко привязал свой «крейсер» к припаромку и тоже отправлялся раздергивать копешки. Перевоз через Светлиху прекращался до вечера. Да и некого было перевозить.

Сам председатель тоже, давно пересев с рессорного ходка на газик-вездеход, с утра до вечера мотался по заречью, по сенокосам других бригад.

Люди измучились окончательно, валились с ног от смертельной усталости. Только Антип Никулин, не уставая, хрипуче проклинал погоду и колхозный скот, ради которого люди принимали такие муки, и Большакова с Устином, без конца заставлявших переметывать набрякшие водой пудовые пласты сена.

– А чего тут руками сделаешь? – крутился Антип однажды с самого утра вокруг председателя, приехавшего на заречье. – Тут машины надо. То есть технику. А что? Почему стога складывать есть машины, а разваливать – нету? Непорядок. Раз в колхозе имеются такие работы – давай машины. Это раньше было просто: выкосил лужок да сложил в стожок. А ныноче – все иначе. Ныноче, проще сказать, трансляция. Надо покосить, да надо и дождичку дать помочить. Должны были предусмотреть разваливательные машины. Деньги зря, что ли, получают?

Маленькая голова Антипа еще в детстве попала, видимо, в какой-то жом, лицо сплющилось, да так и не выправилось за всю жизнь. В тот момент Антип был, наверное, в кепке. Кепка, превратившись в блин, намертво прилипла к голове. Во всяком случае, никто еще не видел Антипа с непокрытой головой.

Ноги Антипа росли как-то странно, нараскаряку. Несмотря на это, толстые, висевшие трубками холщовые штаны, в которых Антип, вероятно, и родился, все время сползали, и старик Никулин поминутно их поддергивал.

– Так я спрашиваю: деньги зря, что ли, получают? – передохнув, еще ближе подступил Антип к Захару. – И ведь – знамо дело! – немалые. По тыщам огребают. А тут колхозник…

И вдруг неожиданно для многих Фрол Курганов, не стесняясь женщин, крепко-накрепко обложил все поле матом и с размаху глубоко вонзил вилы в землю – аж мелко-мелко задрожал до черноты отполированный ладонями черенок.

– Да почему я должен, на самом деле, зря спину надламывать?!

– И пуп надрывать, – тотчас добавил работавший рядом его рыжечубый сын Митька, тоже бросил вилы, протер рукавом залитые едким соленым потом глаза и припал к ведру с холодной водой.

Непонятно было как-то, всерьез говорит Митька, в поддержку отцу, или, наоборот, вставил это в насмешку.

– Вот именно! – прикрикнул Фрол на сына, видимо тоже не понявший, что к чему в его словах.

Митька пожал плечами, закурил, упал лицом вверх в развороченное сено и стал равнодушно пускать в серое и без того мутное небо табачные кольца.

Бригадир Морозов окинул всех тяжелым взглядом, задержал глаза на Большакове.

А Захар, точно крик Курганова упал ему на плечи многопудовой глыбой, медленно опустился на кучу сена.

Устин подождал, пока он сядет, погладил свою черную бороду и ушел в балаган, служивший во времена сенокоса походной бригадной конторой.

Рядом с председателем села Клашка Никулина, разморенная и, казалось, распухшая от тяжелой работы.

Над всем заречьем установилась туго натянутая тишина. Но Захару чудилось, что она вот-вот лопнет с какого-то края, вот-вот выплеснется и вспыхнет злое человеческое отчаяние.

Прошла минута, две. Захар все сидел на копне. Где-то в глубине он чувствовал и понимал, что растерялся, что жалок сейчас, и ненавидел себя за эту минутную слабость.

Однако вместо злых человеческих голосов услышал Захар сквозь дрожащую тишину – не то шуршит чахлый ивняк, растущий сбоку в ржавой и гнилой мочажине, не то друг о друга трутся серые, теплые клубы луговых испарений. И только еще минуту спустя понял – это тяжело дышат приостановившие работу люди.

Он медленно поднял глаза и оглядел колхозников. Клашка Никулина обливала Фрола укоризненным взглядом умных, по-женски мягких, обведенных синеватыми кругами глаз. Бухгалтер Зиновий Маркович неуклюже стоял по колено в сене, словно намертво врос в землю. Потом перевернул вилы и стал выправлять согнувшиеся рыжие тройчаки. Ирина Шатрова наглухо сдвинула брови. Была она похожа на ястребка, который, казалось, взовьется сейчас и кинется на Фрола. Может быть, ястребок разобьется о его мокрую и крепкую, как ослизлый

камень, грудь, но все равно ринется… Наталья Лукина, сложив отяжелевшие руки на груди, тоже внимательно и грустно смотрела на Курганова. Казалось, она знает и видит то, чего не видят другие, и смотрела на Фрола не столь с осуждением, сколь с жалостью и материнской печалью.

И тогда горло Большакова чем-то перехватило, начало пощипывать глаза. От чего? От переполнившего чувства благодарности к этим людям за доверие и поддержку его, Захара Большакова? Может быть. От гордости за этих вот неприметных с виду, мокрых, уставших сейчас людей? Возможно, и от этого…

Захар опустил голову, поняв, что не прорвется у них возглас отчаяния и злости. Но если прорвется, то обрушится не на него, а на Фрола Курганова.

Видимо, понял это и Фрол. Он поспешно отвернулся, отступил и сказал уже примирительно:

– Тот руководит, другой руководит… – И, помолчав немного, опять вскипел неизвестно почему: – От руководства спина не болит!

Недобро усмехнулся Фролу в лицо заведующий гаражом Сергеев, взял вилы и направился к ближайшей копне. Качнулась мокрая бороденка старика Анисима Шатрова, сосульками стекавшая на узкую, прикрытую старенькой черной рубахой грудь. Он повернулся к Митьке и проговорил сурово:

– Пуп, говоришь, надрывать? У него не с пупка грыжа вывалится, а, скорей всего, из того места, откуда язык растет. Пошли, Арина!

И тоже принялся раздергивать влажную копну на мелкие клочки.

Ирина, так и не раздвигая бровей, полоснула взглядом Фрола, а заодно Митьку и встала рядом с дедом.

Вслед за стариком Шатровым и его внучкой поднялся с копны Митька. Поднялся, отбросил окурок, потянулся, словно сытый кот после спячки, – аж хрустнуло что-то в его бычьей груди – и объявил:

– Это бы, конечно, дело сейчас – минуток шестьсот храповицкого подавить… Да еще на пару с горяченькой вдовой вроде вон Клашки. Чтоб просушила насквозь…

Митька глянул в задумчивое Клашкино лицо, нахально подмигнул ей и, насвистывая, подошел к Анисиму с Ириной.

– Посторонитесь, товарищ капитан, на два лаптя правее солнца, – попросил Митька и легонько отнял у старика вилы. – Дай-ка, папаша, так называемый ручной инвентарь. А проще говоря, отдохни малость.

Когда старик отошел в сторону, Митька двумя-тремя взмахами развалил копну, так же, как минуту назад Клашке, подмигнув Ирине:

– А коли вдова походила бы на воспитателя подрастающего поколения крупного рогатого скота, то и минуток тысячу…

Захар увидел, как вспыхнули гневные искры в глазах внучки Шатрова, как розовый отсвет от этих искр растекся по ее чуть загорелым щекам. Видел, как выхватил дед Анисим вилы у Иринки и замахнулся на Митьку, как со смехом отскочил Митька – и пошел, пошел разбрасывать многопудовые копны, словно машина.

Зашевелился остальной народ, приступая к работе.

– Ну, дьявол! – восхищенно произнес дед Анисим вслед Митьке.

– Надо же позор отца-то прикрыть, – усмехнулась Клашка.

– Чего, чего ты на него уставилась! – крикнул вдруг на свою внучку дед Анисим. – Глаза полиняют, мир не в том свете казаться будет!

И уже тише, насмешливо сказал, мотнув бороденкой в сторону Фрола:

– Грех да позор – как дозор: хошь не хошь, а нести надо.

А Фролу, видимо, было бы легче, если бы вместо каждого слова ему вбили в голову по раскаленному добела гвоздю. Он пошатнулся и, обмякнув, сел, как упал, на кошенину, будто его в самом деле ударили по голове. Глянул на балаган, куда скрылся Устин Морозов, и медленно сник как-то, сжался, стал смотреть вниз.

Садясь, Курганов заметил, что в это время поднялся Захар. Фрол думал, что председатель подойдет и добьет его сейчас каким-нибудь словом. Но Большаков ничего не сказал, даже не посмотрел в его сторону.

…Вокруг крохотного, всего метров тридцать в диаметре, лугового озерка стояло несколько бревенчатых бараков, в которых жили колхозники во время сенокосной страды, помещалась кухня, столовая, склад для мелкого инвентаря. Но и бараки, и столовая обычно пустовали. Почти все предпочитали есть и спать на чистом воздухе, для чего возле кухни соорудили два длинных стола, для ночлега каждое лето ставили на скорую руку травянистые балаганы.

Однако нынче балаганы пустовали. В них было холодно, сыро, неуютно. И комары, залетая туда, видимо, по привычке, пищали жалобно и обиженно.

…Вечер, как и все предыдущие вечера, навалился тяжелый, молчаливый и сразу, без обычных сумерек, превратился в ночь. На небе не было видно ни звездочки.

Все бараки ярко светились окнами. Полосы света падали с разных концов на темную гладь озерка, разлиновав его вдоль и поперек, разрезав на треугольники, ромбы, квадраты.

Из столовой доносились голоса, звон посуды. Но Фрол Курганов ужинать не стал. Выйдя из барака, он направился к стоявшей метрах в пятидесяти конюшне – видимо, проверить, все ли там в порядке.

Через полчаса вернулся, спустился по тропке к самой воде и сел.

Озерко по-прежнему лежало молчаливое, неподвижное, словно застывшее. Но минут через пять Фрол все-таки уловил еле слышимый шорох крохотных волн. Уловил и, удивившись чему-то, стал внимательно прислушиваться к этому шороху.

Так он недвижно просидел еще с полчаса. Спина затекла. Фрол вздохнул, потянулся. И тотчас сзади раздался испуганный голос Клашки Никулиной:

– Кто тут?!

На землю упало что-то тяжелое.

– Ну я это, – недовольно промолвил, вставая, Фрол.

– Фу-ты… Я думала – зверь какой. Или собака.

– Собака тоже зверь, – сказал зачем-то Фрол. – Чего по темноте шляешься?

– Да постирать вот…

Никулина, присев на корточки, начала складывать в таз вывалившееся белье.

– В темноте-то чего настираешься…

– Мне сполоснуть только.

– Ну иди. – И посторонился.

Клашка зашла по колено в воду, принялась полоскать белье. По озерку прокатились волны, светлые полосы заколебались, ожили.

Фрол, покуривая, сидел на старом месте, смотрел на эти извивающиеся по воде огненные полосы, точно ждал, когда они перестанут извиваться, успокоятся.

Кончив работу, Клавдия пошла обратно.

– Караулишь, что ли, кого тут? – спросила она.

– А, чтоб тебя! – вдруг рассердился Курганов. – Проваливай ты…

Однако Клашка поставила таз с бельем на землю и сама опустилась на траву.

– Эт-то еще что? – удивленно спросил Фрол, снова поднимаясь.

– А ты сядь, – попросила тихонько Клашка. – Поговорить хочу с тобой.

– Вот как? Не время вроде. И не место. – В голосе Курганова была насмешка.

– Это-то верно, – согласилась Никулина. – Да ведь что время! К тебе ни днем ни ночью не подступишься. Одичал, что ли, с конями ты?

Курганов усмехнулся в темноту:

– В контору вызвала бы для разговоров. Ты имеешь право.

– Да ведь не придешь.

– Не приду, – вздохнул Курганов.

– Вот-вот… А почему?

– Слушай! – повысил голос Фрол. – Какого тебе черта от меня надо? О сегодняшнем… за эту стычку с председателем, что ли, прорабатывать пришла? Как колхозная активистка? Как член правления?

– Зачем? – негромко произнесла женщина. – Не за эту стычку. И не как член правления…

– Ну уж… знаем! Давай советы!

– Ничего ты, Фрол Петрович, не знаешь, – еще тише, с печалью в голосе проговорила Клавдия.

Курганов долгим взглядом посмотрел на Никулину, точно хотел в темноте разглядеть выражение ее лица.

В одном из бараков уже давно, кажется – с тех пор, как подошла к озерку Клавдия, играли на гитаре. Оттуда доносились озорные частушки, прерываемые взрывами смеха.

Фрол прислушался невольно, как выговаривает под гитару лукавый девичий голосок, сообщает:

…А милый пристает опять:
– Можно ль вас поцеловать?
Я сказала: – При луне
Целоваться стыдно мне…

И тотчас взмыл сердитый мужской бас:

А месяц ходит по небу —
В тучу скрылся хоть бы,
Этот месяц взять бы
Снять да расколоть бы…

Фрол до конца прослушал частушечников, до самого того места, когда наконец парень и девушка поцеловались во время свадьбы при всем честном народе, и сел.

Несколько минут они молча слушали, как веселится молодежь. Озеро снова было гладким, квадраты и треугольники лежали на нем спокойно.

– Я вот, Фрол, все гляжу на тебя и думаю: с чего ты такой? – подала наконец голос Клавдия. – Сколь я тебя помню, ты все угрюмый, нелюдимый. И злой.

– Ишь ты какая приметливая! – В голосе Фрола засквозил прежний холодок.

Клавдия уловила его.

– А ты, Фрол, не сердись. Ведь, сдается мне, сам на себя сердишься.

– Слушай, уйди-ка ты, а?

Но Фрол это произнес уже не гневно, как первый раз, а просящим, уговаривающим тоном.

– Да я могу и уйти. Только… Ты вот говоришь: «Давай совести за сегодняшнее». Но ведь тебе и без меня совестно. Перед самим собой. А?

Фрол, огромный, неуклюжий, пошевелился и чуть отодвинулся от Клашки. Помолчал и сказал неожиданно:

– Слышишь, живет?

– Кто живет? – не поняла Никулина.

– Озеро. А так вроде мертвое.

Клашка прислушалась и тоже уловила еле внятное всплескивание невидимых в темноте маленьких волн. И вдруг ей стало понятно, что хотел сказать этим Курганов.

– Тогда в чем же дело, Фрол? – осторожно спросила она.

Фрол сидел к Никулиной боком, сильно ссутулившись. Он плотнее запахнул пиджак, точно ему было холодно. Но ничего не ответил.

Тогда Клавдия, почти шепотом, спросила еще раз:

– Что же, Фрол Петрович, происходит с тобой?

Курганов сворачивал новую папироску. Но при этих Клашкиных словах пальцы его дрогнули, кисет с табаком выпал из рук. И то ли оттого, что дрогнули руки и выпал кисет, то ли от чего другого Фрол вскипел вдруг, швырнул в темноту незажженную папиросу, повернулся к Никулиной, сдавленно прокричал:

– Слушай, чего ты в душу лезешь? Кто тебя просил?

– Да никто, сама я хотела…

– Сама? – перебил ее Фрол. – А что сама?! Чего ты хочешь разглядеть во мне? И чего можешь? Катитесь вы все… Может, я ненавижу всех вас! А, как это?! Ненавижу за то, что живете так, как хотите. За то, что для вас все дни будто из одной радости сотканы, что… Вишь, поют вон, на музыках играют… Э-э, да разве вы поймете…

И Фрол умолк, словно в недоумении, словно только что сам услышал свои слова. А Никулина с упреком и горечью произнесла:

– Это у меня-то сотканные из одной радости…

Уже много лет Клавдия Никулина жила отдельно от отца, в маленьком, всего в три оконца, деревянном домике. Жила тихо и строго, как монашка, и все ждала, ждала своего мужа, Федора Морозова, сына Пистимеи и Устина, с которым ей не пришлось даже и переночевать. Ранним августовским утром 1943 года ее жених вскочил верхом на подведенную ему лошадь и ускакал в военкомат. Рассеялась пыль из-под копыт – и словно не было на свете Федора Морозова.

А потом, спустя год, вызвал председатель колхоза, Захар Большаков, Клашку в контору; отворачивая лицо, дал ей маленький листок, на котором прыгали, как черные пауки, неровные буквы: «…Федор Устинович Морозов… геройски погиб в боях за деревню Усть-Каменку…»

– Нет-нет… Не может быть… – проговорила Клашка совсем спокойно. Только голос был тихий и бесцветный. И уж потом закричала и в беспамятстве упала на крашеный, чисто вымытый пол.

Потекли годы. Ложились на землю снега, таяли. Шумело травами заречье. Снова толстый слой снега покрывал их на долгие месяцы. Но проходило время – и он снова таял.

Клашке казалось: придет час – и ее женская тоска растает, распустится, как снег под солнцем, и выльется, стечет теплыми и радостными, облегчающими душу слезами. Это произойдет, когда вернется Федор.

И это казалось Клавдии уже почти двадцать лет.

Зеленодольские бабы смотрели на Клавдию с удивлением и женской жалостью, мужики – с уважением, а деревенские девчушки просто благоговели перед ней. Иринка Шатрова так вообще считала ее чуть ли не за святую. И только Илюшка Юргин иногда ронял в ее адрес грязноватые смешки, Андрон Овчинников глубокомысленно произносил при случае «сомневаюсь», да ее родной отец, Антип Никулин, слушая разговоры о Клашке, всегда вставлял в конце презрительное «хе!».

…Голоса молодежи в бараках по-прежнему не утихали. Только теперь не пели, а, кажется, затеяли танцы под гармонь. Промокшие поля, влажная темнота то и дело оглашались взрывами хохота.

– Это у меня-то сотканные из одной радости… – снова повторила Клавдия с упреком. Но горечи в ее голосе теперь не было. – Эх, Фрол, Фрол… Ну ладно, не хочешь поделиться своей печалью – не надо.

– Нечего мне делить, – упрямо проговорил Фрол. – И ничего со мной не происходит.

– Не вижу, что ли, я?

Курганов захлопал ладонью по траве, пытаясь отыскать табак. Клашка тоже пошарила в темноте, протянула ему кисет.

Огненные полосы на водной глади снова чуть заколыхались – потянуло ветерком. И кажется, стало чуть светлее, будто после всего получасовой ночи вдруг наступил рассвет.

Ни Фрол, ни Клавдия долго ни о чем не говорили. Сидели друг подле друга, думали каждый о своем. Фрол курил, освещая вспышками самокрутки тяжелый, с широкими ноздрями нос, обветренные губы, крутой, с неделю не бритый подбородок, большую, с жесткими пальцами руку, в которой держал папиросу.

Вдруг на небе образовался просвет в тучах, проглянуло несколько звезд, стало немного светлее, и оба, Клавдия и Фрол, подумали, что ночь еще не наступила, что, не будь туч, над землей плыли бы светлые сумерки, а над горизонтом отцветал бы веселый закат, обещая на завтра погожий день.

– Неужели к утру разведреет, Фрол, а? – проговорила Никулина.

Фрол поднял голову к небу:

– Вряд ли так скоро… Вон, видишь, все погасло…

Редковатые звезды над головой действительно исчезли, открывшийся в тучах небольшой просвет снова затянуло наглухо.

– Пойду бельишко раскину. Может, проветреет к утру.

И она поднялась.

Фрол бросил папиросу, но остался сидеть на месте. Только спросил:

– Слушай, а все ж таки… ради чего ты это со мной вдруг тут… такой разговор?

– Н-не знаю… – произнесла она неуверенно, вероятно, потому, что не могла до конца понять смысла его вопроса. – Жалко мне тебя, может. Человек ведь ты.

– Я-то?

– А как же… Озерко-то вон, сам говоришь, живое все же…

Курганов медленно встал, подошел к Клавдии почти вплотную.

– Во-он что! – протянул он с изумлением. Помолчал и прибавил, чуть склонившись к ней: – Интересно бы при свете в твои глаза поглядеть.

Это женщину вдруг не то смутило, не то испугало. Она сделала несколько шагов назад, остановилась, точно хотела что-то сказать. Но повернулась и быстро ушла к баракам.

Там, куда она ушла, было тихо, молодежь больше не плясала, не шумела. Оттуда доносился только тоскующий девичий голос:

Над землею солнце тихо поднимается…
Солнцем высвечены дальние края,
Где-то счастье, словно утро, занимается,
Где-то ждет меня любовь моя…

Песня была чуточку грустноватая и какая-то очень доверчивая.

Фрол, уронив тяжелые руки, стоял, ни о чем не думая. Ему только казалось, что если он пошевелится, то неминуемо спугнет песню и она тотчас умолкнет.

Шли дни за днями, а погода не улучшалась. Унылое и промозглое небо теперь почти совсем не пропускало солнечных лучей.

Все заречье превратилось в сплошную хлюпь. Оттуда плыла на деревню теплая, сладковатая прель.

Захар по-прежнему несколько раз в день приезжал на луга.

Если он появлялся во время отдыха, бригадир Устин Морозов, работавший наравне со всеми, морщился, нехотя брал свои вилы, вздыхал тяжело:

– Поднимайтесь…

– Ты, дядя Устин… Председатель, что ли, виноват?! – воскликнула однажды с обидой Ирина.

Устин глянул на девушку – словно плетью мокрой хлестнул, но ничего не ответил. Вместо него на Ирину окрысился Илюшка Юргин:

– А что, панфары ему бить, что ли, за издев над людями?

– Фанфары, – насмешливо поправил Митька и добавил: – Музыка такая. Исполняется в торжественных случаях.

– И ты, Митька… – вздрагивая губами, повернулась к нему Ирина.

– Замолчи-ка ты, щенок, в самом деле, – негромко сказал Митьке отец и почему-то глянул на Устина Морозова. Тот, не поворачиваясь, сдержанно усмехнулся.

Ирина быстро-быстро задышала, сжала обеими руками вилы, будто хотела проколоть Юргина. Купи-продай приподнял мокрую верхнюю губу, утыканную кое-где толстыми и жесткими, как прошлогодняя пшеничная стерня, волосами, выдавил сквозь зубы длинную струйку слюны и, бесстыдно смакуя каждое слово, проговорил:

– Стучат ногами тут всякие… Ровно их за голую титьку щупают. – И демонстративно отвернулся.

В лицо Ирины будто ударился ком ослизлого, вонючего гнилья и растекся, не давая дышать. Вспыхнув от стыда и злости, она хотела что-то крикнуть, уже шагнула было к Юргину. Но Лукина положила руку ей на плечо, удержала:

– Не тронь ты их. Ну их, право… Подальше от грязи – чище будешь.

– Так ведь Устин кривится, как от зубной боли, едва председательская машина покажется. Бригадир ведь. А люди не слепые, видят. А этот… этот…

– Измотались люди, вот и плещет злость. Устин – он тоже человек, – сказала Наталья.

– И ты, Митька! – еще раз повернулась к нему со слезами на глазах Ирина.

Митька, колючий и зубастый, на этот раз виновато отошел прочь, как побитый.

В этот день, как, впрочем, и в другие, председатель, приехав, ничего не спросил, потому что все было ясно и так. Давно не бритое лицо его осунулось, подковки усов свесились, казалось, еще ниже.

– Прогноз там… не изменился? Нет просвета? – спросил Морозов.

– Переменная облачность, незначительные осадки, ответил за Большакова агроном Корнеев, подъехавший на ходке почти одновременно с председателем.

– Незначительные! – поводил черными бровями Устин. – Останемся без сена, однако, Захар. Как в других бригадах там?

– Одна картина, – махнул рукой Большаков.

В безмолвии выкурили по папиросе.

Агроном Корнеев, чуть грузный, приземистый, напоминал увесистый пшеничный сноп. Вероятно, потому, что буйные рыжие волосы его рассыпались во все стороны, свешивались, как колосья, на круглый лоб, на виски. Сейчас из-под фуражки не выглядывало ни одной пряди, лоб его казался огромным, как булыжник.

Время от времени на этом лбу возникали неглубокие морщинки, потом исчезали.

– А может, Захарыч, еще посилосовать травки? – сказал Морозов. – Ведь так и так…

Большаков помял обеими ладонями лицо. На лбу главного агронома опять образовались морщинки и расправились.

– Так что же делать, Борис Дементьевич?… – вздохнул Морозов. – А кукурузку, бог даст, осенью в стога смечем… на сухой корм.

– Кукуруза-то, Захар, в иных местах гнить начинает. Вот что, – промолвил тихонько Корнеев. – В Ручьевке вон…

– Знаю, Борис Дементьевич. Я и попросил тебя сюда подъехать, чтоб посоветоваться… В четвертой бригаде я уж распорядился сегодня силосовать ее…

– Кукурузу?! – воскликнул Филимон Колесников, тоже покинувший сегодня свою мастерскую. – А если…

– Что «если»? – строго поднял голову агроном.

Морозов тоже поглядел внимательно на Филимона, ожидая, что он еще скажет. Но тот ничего больше не сказал. Тогда бригадир перевел взгляд на председателя. Захар приметил: еле различимые зрачки его черных глаз чуть пошевеливались.

Корнеев поднялся:

– Что же, Захар Захарыч… поеду в Ручьевку, тоже распоряжусь.

– Езжай.

Когда агроном уехал, Морозов сообщил:

– Сегодня утром еще три стога загорелись.

– Надо разваливать и как-то сушить. Больше выхода не вижу.

Захар старался не глядеть на бригадира. Ему казалось, что зрачки Морозова до сих пор неприятно пошевеливаются.

Пообещав подослать на луга еще людей, Большаков пошел к машине.

– Каждый день обещает, а где их возьмет? – спросил неизвестно у кого Илья Юргин. – Сядут, что ли, вместе с Корнеевым на яйца к ночи да высидят к утру?

– Я тоже сомневаюсь, – ответил ему Андрон Овчинников.

Андрон с детства работал в колхозе возчиком. Каждый день, в летний зной и зимнюю пургу, он куда-нибудь за чем-нибудь ехал. По деревне ходил всегда с кнутом. И даже сейчас странно было видеть в его руках не кнут, а вилы.

– Обманывает народ еще… – цедил Юргин, оглядывая насмешливо колхозников. – Все они горазды обещать да работать заставлять…

…Как-то дней через пять после этого колхозники возвращались субботним вечером домой – хоть помыться в бане да просушить одежду.

Уставшие люди входили по одному, по двое на паром, рассаживаясь прямо на полу.

– Все, что ли? – спросил Анисим, готовясь отправить свое судно.

– Митьки еще с Егоркой нету.

– Жди их, окаянных! – заворчал старик.

– Погоди, вон, кажись, Митька бежит, – проговорила Ирина.

Когда Митька зашел на паром, раскисшие его сапоги сердито чавкали.

– Со скрипом обутки. Фертом, Митяй, ходишь, – заметил Овчинников, будто даже позавидовал.

– Гробишь новые сапоги, Митря. Похуже, что ль, нет? – покачал головой Филимон. И спросил у Фрола: – А ты чего не смотришь за парнем?

Фрол Курганов угрюмо глядел на Клавдию Никулину, которая сидела напротив, и будто соображал – она или не она говорила с ним недавно на берегу озера? На коленях у нее лежал платок, в зубах были шпильки. Она брала изо рта по одной и закалывала волосы.

– Ничего, папаша. Мне жениться надо, потому и хожу в новых сапогах, – откликнулся вместо отца Митька и подошел к Клашке. – Подвиньтесь, девушка.

Митька бесцеремонно втиснулся между Клавдией и Варькой Морозовой, дочерью Устина. Положил возле ног веревку, которую неизвестно для чего притащил с собой. Фрол Курганов перестал глядеть на Клашку, медленно отвел глаза.

– Расточительно, конечно, – поддержал Филимона Зиновий Маркович. – За неделю сгниют союзники.

– Ничего, – опять уронил Митька, кося глазком то на Клашку, то на Варьку, – скоро по асфальтам ходить будем. Красота! Сушь и твердость.

Ирина, сидевшая по другую сторону Клашки, не выдержала, фыркнула:

– У него одна забота – как бы чуб не сгнил в такую погоду! Где уж о сапогах еще думать!

Митька пропустил мимо ушей ее слова, наклонился, шепнул что-то дочери бригадира. Варька Морозова, рослая, сильная, с полураспущенными косами, выглядывающими из-под шерстяного платка, которым она была укутана, пугливо отстранилась, скользнула по Митьке печальными глазами и еще ниже надвинула на лоб платок.

– Отстань!

– Вон Егор-то идет, – улыбнулась Клашка.

Митька взглянул на приближающегося Егора, притворно вздохнул:

– Эх… как говорится, с чужого воза средь дороги долой!

Поднял свою веревку, перешел на другой конец парома, достал на ходу папиросу, сел возле Юргина на бревно, которое совали под брички, чтобы сдвинуть их плотнее для экономии места на пароме.

– Дай-ка прикурить, дядя Илья.

Купи-продай ткнул ему чуть не в лицо папиросу.

Такое необычное прозвище Юргин получил не зря. Что-нибудь продавать и что-нибудь покупать было у него необъяснимой и никому не понятной страстью. Стоило Илье у любого колхозника увидеть новый копеечный мундштук, плоскую банку для табака, перочинный ножик, как он начинал ходить по пятам и уговаривать продать неизвестно почему понравившуюся ему вещь. В свою очередь, он постоянно предлагал и настойчиво уговаривал купить у него то кисет, то плоскогубцы, набор пуговиц для нижнего белья или зажим для галстука. Вообще ассортимент товаров у него был велик – от иголки до средних размеров детских резиновых мячей, то есть до тех предметов, которые могли уместиться в карманах.

Дед Анисим отправил паром. Зашлепали волны, ударяясь в промасленные борта карбузов. Разговор угас. Только Митька вел с Юргиным беседу на «божественную» тему:

– Тетка Пистимея говорит, что ты, брат мой во Христе, еще водного крещения не принимал.

Юргин подозрительно покосился на Митьку, чуть отодвинулся, буркнув:

– Тоже мне брат нашелся! Пес шелудивый твой брат.

– Не сподобился, значит, ты еще, – не унимался Митька. – Тетка Пистимея так и говорит: «Глас Божий не достигает души его».

– Отстань!

Все знали, что Юргин похаживал время от времени в баптистский молитвенный дом – «из интересу с любопытством», как он сам об этом говорил.

– А я так думаю, дядя Илья, что глас Божий тебя достиг уже, хоть ты еще и не чуешь этого. Ведь сказано же у пророка Иеремии: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен».

– Что ты понимаешь? – усмехнулся Юргин. – Иеремия так говорил, а Иаков иначе. Вот: «В искушении никто не говори: „Боже меня искушает“, потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает». Тоже читывали и мы когда-то кое-что.

– Эх, дядя Илья! Так ведь Иаков про искушения зла говорит, а Иеремия – о проникновенном гласе Божьем, зовущем к добру, к перерождению духовному. – И, поглядев в глаза Юргину, заключил: – Но я все равно считаю, что ты достоин водного крещения.

– Да отстань ты! – прикрикнул уже с раздражением Юргин. – На черта мне оно, это крещение!

Так ничего и не понял Купи-продай. Митька хмыкнул и замолчал.

А паром между тем был уже на середине реки.

Вдруг Клашка толкнула сперва Ирину, потом Варьку, показала глазами на Митьку:

– Смотрите-ка! Смотрите… Чего это он?

Купи-продай, свесив с бревна ползада, сидел, облокотившись о колени, всем своим видом показывая величайшее презрение не только к присутствующим на пароме, но и еще, по крайней мере, к половине человечества, если не ко всему сразу. А Митька, откинувшись на перила парома, сосредоточенно прижигал папироской его штаны.

Потом Митька стал невозмутимо курить, раздувая струйками табачного дыма занявшееся, видимо, уже место. В глазах его прыгали чертики.

Пока Клашка, Ирина и Варька соображали, что там колдует такое Митька, Юргин вдруг заговорил, не меняя позы:

– Тоже мне руководители! Устин этот, хошь Захарка… Чего народ мучить! Жилы рвем, а сено все одно гниет. Может, им панфары за геройство бить на собраниях будут, а я при чем? Я, откровенно даже сказать, здоровьем слабый. В груди у меня что-то заходится… Или вот еще, тоже работнички в нашем сельповском магазине, – съехал он вдруг на свою любимую тему. – На днях в скобяном отделе ухват покупал. Мне его швырк на прилавок. Заверните, говорю. «Бумаги нет…» Как это нет, спрашивается?! Коли зашел трудящийся колхозник в магазин, так ты его культурно обслужи. В торговом деле первый вопрос – культура и взаимная вежливость, потому что… Ой! Ой!!

– Что, что, дядя Илья? – участливо заглянул в глаза Юргину Митька.

– О-ой! – Юргин выскочил на середину парома, пританцовывая, закрутился на месте, хлопая себя то одной, то другой рукой по заду.

Первой захохотала Клашка, поняв, в чем дело. За ней закатился басом Филимон.

Но большинство колхозников молча и удивленно смотрели на Юргина.

– Батюшки, не родимец ли его схватил? – испуганно воскликнул женский голос.

– Обыкновенная самодеятельность, – успокоил Митька. И отчетливо пояснил: – Знаменитый артист Купи-продай исполняет баптистский танец.

– Бапти… Самодель… э-э, люди! – прыгал посреди парома Юргин, высоко вскидывая ноги. – Ведь он, однако, Митька…

И это было до того уморительно, что даже колхозники, настроенные самым мрачным образом, начали улыбаться. Улыбнулся и Фрол Курганов, засветилась веселая искорка в продолговатых, вечно печальных глазах Варьки Морозовой. А Ирина уткнулась в плечо Клашки Никулиной и вытирала кулаком проступившие от хохота слезы.

– Да отчего это он… Клашенька? – с трудом прокричала Ирина.

– Видишь ли… понимаешь ли… – только и смогла проговорить Клашка.

Илья Юргин вдруг сел на доски. Но тут же вскочил, точно подброшенный пружиной, закрутился еще сильнее.

– Горю… горю ить я!.. Штаны еще новые почти были! Э-э…

– Что ты говоришь?! – подскочил к Юргину Митька. – Где, где горит?

– Еще спрашиваешь, дьявол! Вот тут, тут смотри! – повернулся к Митьке спиной Юргин и чуть согнулся. – Туши, что ли, гад!

Митька ковырнул в брюках пальцем, оторвал полуистлевший кусок. И тогда откуда-то из недр Илюшкиных брюк повалили сразу клубы дыма.

Сквозь неудержимый хохот послышались выкрики:

– Сгорит живьем человек!

– Воды скореича! Где ведро?

– Скидывай штаны-то! Скидывай! Сгоришь вместе с ними!

Но громче всех вопил сам Юргин, пятясь задом на Митьку:

– Туши, говорю, сволочь! Туши, паразит!

– Сейчас, браток, сейчас! – ласково говорил Митька, торопливо разматывая свою веревку. – А заодно и окрестим. Жди, когда тетка Пистимея решит, что сподобился уж… Правда, без положенного обряда.

В следующее мгновение Митька захлестнул веревку под мышками Ильи, взял его в охапку и потащил к перилам парома. Никто не успел опомниться, как «знаменитый артист», болтая руками и ногами, мешком плюхнулся в воду.

– Это еще что за шутки? – перестав смеяться, крикнул Сергеев.

– В самом деле добалуешься… Утопишь человека, – подал голос и Колесников.

– Ничего, пусть вымочит ему всю желчь.

– Да, ему вымочишь! В бензине разве с недельку выдержать…

Веревка была не очень длинной, Юргин барахтался метрах в пяти от парома, истошно выкрикивал:

– Сволочь чубатая! Анархист проклятый…

– Ну как, потухло?

– И-и-ы-ы! – простонал в ответ Юргин посиневшими губами.

– Что, еще идет дым? – огорченно переспросил Митька. – Ну не падай духом, не бросим в беде человека. Давай еще помочим.

– Ты в самом деле… шути, да знай меру, – поднялся все-таки Сергеев. – Захлебнется же…

Он подошел и отобрал у Митьки веревку. Но паром был уже почти у причала. Почуяв под ногами дно, Юргин с такой силой дернул к себе веревку, что вырвал ее из рук Сергеева и выполз на песок.

Досмеиваясь, люди сходили на берег.

Митька как ни в чем не бывало подошел к Илье, снял веревку и начал ее молча сматывать. Купи-продай беззвучно открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать, подпрыгивая вокруг Митьки, размахивая руками, но это не помогало ему обрести дар речи.

– Стучат ногами тут всякие… будто их голой рукой щекочут… за обгорелые места, – сказал Митька, так же смакуя каждое слово, как сам Юргин несколько дней назад.

И ушел домой, оставив Юргина соображать, что к чему.

Знаменитый Купи-продай сообразил не сразу. Зато мгновенно догадалась обо всем Ирина. Она перестала смеяться, поискала глазами Митьку. Но его уже не было на берегу.

Задумчиво глядя себе под ноги, она пошла в деревню, забыв подождать деда.

А дед Анисим, между прочим, был единственным человеком на пароме, который ни разу не улыбнулся за все время. Он один в течение всего рейса молча сосал потухшую трубку, поглядывая то на Митьку-озорника, то на свою внучку…

Глава 3

Поздним вечером промокшие, молчаливые Большаков и Корнеев возвращались домой из обкома партии. Каждый из них вез с собой по выговору за «головотяпство» по отношению к «королеве полей», как выразился один из членов бюро обкома.

В обком их вместе с секретарем райкома партии Григорьевым вызвали неожиданно, не объясняя причин. И только там сообщили, что от группы колхозников Зеленого Дола поступило письмо, в котором говорилось о «преступных действиях» председателя колхоза Захара Большакова и главного агронома Корнеева, распорядившихся всю «недавно только взошедшую, еще низкорослую кукурузу» скосить на силос.

Само письмо не показали, да Большаков с Корнеевым и не просили этого. Сообщили – потребовали объяснений.

Сверху сыпалась все та же морось. Копыта лошади чавкали по грязи, тяжелые, скользкие ошметки глины летели из-под колес, падали на спины, на головы. Андрон Овчинников, встретивший председателя с агрономом на станции, уныло сидел на передке, время от времени покручивая над головой бичом и почмокивая губами.

– Ну вот так, головотяп! – впервые за всю дорогу с горечью произнес Захар.

Большаков и Корнеев знакомы давно, около полутора десятков лет. Когда-то они вместе учились на курсах председателей колхозов. Затем Корнеев несколько лет возглавлял соседнюю ручьевскую артель, окончил заочно сельхозинститут. После объединения колхозов бессменно состоит главным агрономом укрупненного хозяйства.

Они отлично сработались, понимали друг друга с полуслова, давно стали друзьями.

– Спасибо еще Григорьеву, он все-таки пытался объяснить, что к чему, – откликнулся так же невесело Корнеев. – Кабы не он, мало-мало по строгачу с предупреждением, а то и… Шутка ли – головотяпство! Так хоть простые выговоришки. – Помолчав, добавил: – Хороший, видать, человек Григорьев-то.

– А что, Боря, если мы с тобой и впрямь… того? – спросил Захар. – Вот завтра перестанет непогодь, обыгает кукуруза да и вымахает у всех в рост-полтора к осени? Вот уж разъяснит нам тогда… всем троим.

– Н-да, риск. А вот у кого окончательно погибнет кукуруза, тем ничего разъяснять не будут.

От ближайшей станции до Зеленого Дола всего десять километров, но с лошади давно летели клочья пены. Когда показались огни деревни, мерин поплелся шагом.

– Черт, Морозов не догадался за нами машину послать! – сказал в темноту Большаков.

– Дождя в обед не было, – не оборачиваясь, ответил Овчинников. – Устин говорит: «Давай езжай, председатель больше уважает чистый воздух». Ну а мне что? Кнут в руки – и все сборы.

– Интересно бы все же знать, что за «группа колхозников» такая? – раздумчиво промолвил Корнеев.

«Она, может, в одном лице, эта „группа“», – подумал Захар, вспоминая, как зашевелились зрачки Устина Морозова, едва он сказал недавно, что распорядился в четвертой бригаде скосить кукурузу под силос. Подумал, но вслух говорить ничего не стал. Да и что говорить? Ну не любит Захар этого человека, не сошлись они когда-то в чем-то. Из-за его религиозной сверх всякой меры жены ли, из-за нелюдимости ли самого Устина? Но вот и с Фролом Кургановым не сошлись. Отношения его с Фролом еще сложнее. То есть настолько сложны, что Захар давно оставил попытку разобраться в них. Что ж, и Фрола подозревать в таком случае? Нет, не годится… Да и что думать теперь об этом письме! Если в самом деле они с Борисом ошиблись с кукурузой, осенью будет второе. Знает Захар, что будет. Не знает только от кого,

от какой «группы». Устин все-таки не должен бы… А Фрол, как Захару кажется, тем более. Этот лучше уж в морду харкнет, как недавно на лугу…

Анисим, ожидавший их с паромом, давно перевез на другой берег, давно они ехали по такой же раскисшей, как проселочная дорога, улице села. А Захар незаметно для себя все думал о Фроле Курганове, его жене Степаниде, об их сыне Митьке. Да, не разобраться в их отношениях. Может, и лежал когда-то наверху конец ниточки, потянув за которую можно было размотать весь клубок. Да с годами кончик тот истерся, оборвался, время обкатало клубок, как камень-голыш. Хоть ногтем колупай, ножом скреби. Пыль наскоблишь, а кончика не найдешь.

Очевидно, эта пыль и оседала всегда на сердце Захара, пощипывала каждый раз при виде Митьки, затягивала тоненькой холодной пленочкой… Митька был первым и единственным сыном Фрола Курганова и Стешки. А мог бы быть сыном его, Захара Большакова. Захар злился сам на себя, а пленочка не таяла. Чем же виноват Митька, что не его он сын? И ведь парень как парень, озорной и смешливый. Правда, в шутках своих не знает края, смелый до дерзости. Но зато в работе отчаянный и неутомимый, лучший механизатор. Надо, однако, поставить его механиком ремонтной мастерской.

Какие-то странные звуки заставили Захара очнуться. Что за черт, гимн, что ли, кто поет? Кто? Где? По какому поводу?! И почему – поет? Давно уже государственный гимн исполнялся без слов. Может, кто завел сохранившуюся с давних времен патефонную пластинку? Да нет, гимн пели торжественно, величаво, а тут тянется и тянется заунывный мотив.

– Что за наваждение? – спросил Большаков, нахмуриваясь еще больше. – Слышите?

Корнеев что-то промычал удивленно, а Овчинников уронил смешок, указал бичом в переулок, во тьму:

– Там…

– Что там?

– А поют. Эти самые…

Песня слышалась теперь отчетливее:

Союз нерушимый великой свободы
Сплотила навеки святая любовь.
Нас, верных лишь только единому Богу,
Омыла Христова пречистая кровь…

– Эти самые поют… баптисты Пистимеины, – сказал Овчинников. – Третьеводни я проезжал мимо ихнего дома – разучивали только, вразнобой тянули. А теперь, ишь, с подголосками выводят.

– Ах, старые песочницы! – воскликнул Корнеев. – Это что же получается?! Еще бы на мотив «Интернационала» вздумали… Сворачивай, Андрон! Живо!

Овчинников защелкал бичом. Уставший мерин захлюпал по грязи чуть быстрее.

Возле молитвенного дома их встретил Филимон Колесников. Размахивая руками, он подбежал к ходку:

– Это что же такое, Захар, а? Борис Дементьич? Это до каких пор такую вонь терпеть будем, я спрашиваю?!

– Спокойно, Филимон! – дотронулся Большаков до его плеча, сойдя на землю.

А вдоль улицы меж тем тягуче и тоскливо тянулось:

Сквозь грозы и бури житейского моря
Пойдем мы вперед, не страшась вражьих сил,
Христос нам поможет, ведь в нем наша сила,
И он, первенец, этот путь проложил…

Колесников ринулся в молитвенный дом.

– Филимон! – еще раз предупредил Большаков. – Гляди, дров наломаешь…

Колесников, горячий и порывистый, до сих пор не мог примириться с существованием в Зеленом Доле баптистского молитвенного заведения. Когда он вернулся с Отечественной и, проходя по деревне с немецкой трубкой в зубах, впервые услышал доносящиеся из дому песнопения, обошел его сперва кругом и с гневной укоризной спросил у Большакова:

– Эт-то что?! Как допустил?!

– Разве я? Меня тут не спрашивали…

– Все равно! Эх!.. Ну, я их!

Филимон, тогда еще молодой и, несмотря на пережитое, опалившее огнем время, немного ветреный и легкомысленный, около года трезвонил по деревне, что раскатает молитвенный дом по бревнышку, а всех старушонок-баптисток заставит вместо своих молитв петь: «Распроклятый черт, камаринский мужик…»

– Но-но, ты не очень-то! – сказал ему однажды Юргин, стоя, однако, от Филимона на приличном расстоянии. – Я-то не верю в Бога, я, можно сказать, даже этот… атеист-антирелигиозник. По мне, хоть по щепочке разнеси их гнездо. А только статья сто двадцать четвертая Конституции – это, брат, что? – И вытащил из кармана книжечку. – Вот она, ногтем отчеркнутая, эта статеечка… «В целях обеспечения свободы совести в СССР…» Понял, в целях обеспечения… И дальше: «Свобода отправления религиозных культов… признается за всеми гражданами». Дошло? Свобода! А старушки тоже граждане… И тоже свободы хотят.

Ух как вскипел Филимон, роняя изо рта заграничную трубку!

– Кто тебе, дурак немытый, статью эту отчеркнул, а?! С чьих слов ты, атеист-антирелигиозник, песню поешь?! Да я тебя…

– Но-но! – снова проговорил Юргин, уже помягче. – Давай лучше того… Зачем тебе трубка-то? Продай лучше. Или давай сменяемся. Я тебе за нее пинцет дам.

– Ч-чего?! – совсем открыл рот Колесников.

– Пинцет… такой блестящий, большой. В медицине им пользуются. А сейчас вилок нету, так можно его и вместо вилки… Очень надежно хоть пельмень, хоть вареное сало брать. Я пробовал. И еще бутылку самогону в придачу дам.

Бутылка и решила дело, обмен состоялся.

– Трубка, верно, не нужна мне, – сказал Колесников. – Так, для форсу дымил с нее. А тебе-то она зачем? Ты же совсем не куришь.

– А так… редкая вещь все же…

– Ну, дуй от меня! Пинцет свой обратно возьми, ешь им пельмени. Да гляди у меня, поагитируй еще за богомолок… Я все равно схвачу их вот этим пинцетом поперек глотки. – Колесников сжал и разжал огромный кулак. – И тебя вместе с ними, если что…

Вскоре после этого, воинственно обойдя еще раз вокруг молитвенного дома, Филимон укатил в район, оттуда в область…

Вернулся сердитый, хмурый как туча.

– Ну что? – спросил Большаков.

– Вот, – бросил Колесников на стол брошюрку «Церковь в СССР». – Дали почитать в области. Я тут ногтем, как Юргин, тоже отчеркал некоторые места… про свободу совести. «Законы СССР запрещают ограничивать свободу совести, преследовать за религиозные убеждения и оскорблять религиозные чувства верующих». Все яснее ясного. Это мне еще Юргин разъяснил. Да что это за законы такие? А если они, эти богомолы, мои антирелигиозные чувства оскорбляют?

С годами Филимон утих, посерьезнел. Но когда речь шла о молитвенном доме, Колесникова нет-нет да и прорывало.

Отправив Овчинникова с лошадью, Большаков с Корнеевым тоже вошли в тускло освещенные сени, оттуда – в большую комнату, устланную половиками. Вдоль стен по лавкам сидело десятка полтора старух. Посреди комнаты стоял простенький, ничем не покрытый стол, на нем лежала Библия. На стенах ни икон, ни лампад. Только в простенке между окон висел обыкновенный отрывной календарь. Электрическая лампочка на потолке была закрыта наглухо плотным зеленым абажуром с кистями, отчего в комнате был мягкий, умиротворяющий полумрак.

Сложив руки на груди, старухи жалобно выводили:

Наш путь в небеса, ко Христу, есть сраженье,
Борьба с своей плотью, грехом и со злом.
Но в трудный момент ко Христу, без сомненья,
Мы все воззовем, и поможет нам он…

– Эт-то что еще тут за филармонию развели?! – загремел Колесников.

Старухи испуганно замолкли.

– Тихо, ты… – подтолкнул его Захар. – Пистимея Макаровна, у нас к тебе…

– Клавдия! Никулина!!! – воскликнул вдруг Корнеев, перебивая председателя. – И ты здесь?! Вот это… Это уж не филармония, а, как выражается твой отец, целая трансляция. Нука, Захар, нет ли тут еще кого из членов нашего правления?

Никого из членов правления колхоза в комнате больше не было. А Клавдия Никулина, бригадир огородниц, действительно, опустив голову, сгорая, видимо, от стыда, сидела среди старух.

Впрочем, кроме Клашки и старух, тут находилась еще дочка самой Пистимеи. Прижавшись в уголке, закрыв до половины лицо платком, Варька тупым и безнадежным каким-то взглядом глядела в черное окно.

– Так… – Захар тяжело переступил с ноги на ногу. – Пистимея Макаровна, поговорить надо. Давайте… А помолитесь завтра…

– А я вот что скажу вам, касатики, – строго поблескивая голубыми, чистыми даже в старости глазами, проговорила Пистимея, выпрямляясь. – По какому такому праву вы… вломились сюда? Слава богу, по советским законам мешать богослужениям запрещается…

Тогда Большаков жестко проговорил:

– А сегодня – помешаем…

– Кончайте свои молитвы, живо! – Колесников шагнул было к столу, но Большаков удержал его.

– Мы будем жаловаться, – предупредила Пистимея.

Большаков погладил усы, снял фуражку.

– Кто тебе запрещает? А сейчас в самом деле кончайте. Ты знаешь, я не полезу в те ваши дела, куда не положено.

Пистимея это знала. Она обиженно поджала высохшие губы, пробормотала что-то невнятно.

Старухи одна за одной зашаркали к выходу. Поднялась и Клашка.

– А ты останься, пожалуй, Клавдия, – сказал Корнеев.

Когда все, кроме Клашки, вышли, Захар прошел к столу, сел на табурет, отодвинул в сторону Библию. Пистимея, торжественно сложив на груди руки, стояла рядом, как столб.

– Что это вы за песню тут пели? – спросил Захар простуженным, ничего хорошего не предвещавшим голосом.

Вся строгость в Пистимеиной позе сразу как-то растаяла, хотя руки она по-прежнему держала сложенными на груди. В глазах проступило недоумение.

– Так, обыкновенная песня… божественного содержания.

– Ты не юли, бабка! – вмешался Колесников. – Не об содержании пока речь, об музыке.

– Никакой музыки у нас не было…

– Пистимея, не притворяйся-ка, в самом деле! – чуть повысил голос Корнеев. – На какой мотив вы приспособили… божественное содержание вашей песни?

Пистимея наконец опустила руки, беспомощно и чуть заискивающе улыбнулась старческой улыбкой, сбивчиво забормотала:

– Так чего уж… Мы уж… Вроде похоже, правда… А мне невдомек…

– Вот что я тебе скажу, Пистимея Макаровна! – Большаков пристукнул кулаком по столу. – Ты не представляйся глупее, чем ты есть. Все тебе «вдомек». Услышу еще раз эту песню – будем ставить вопрос о закрытии вашего молитвенного заведения. Поняла?

– Как же, как же… – поспешно закивала головой пресвитерша.

– Ты законы об религии хорошо знаешь, – усмехнулся Колесников, – когда-то ногтем в Конституции статью отчеркнула, которую мне Юргин в нос совал. Но и мы знаем условия прекращения деятельности всяких религиозных общин. И не позволим государственный гимн похабить…

– Господи, слово-то какое!

– Слово хоть и грубое, но точное, – сказал Большаков. – А теперь еще насчет молодежи. Мы не раз говорили с тобой об этом и по-хорошему, и по-плохому.

Пистимея снова сложила руки на груди, приняла торжественный вид.

– Ты, Захар, напраслину не возводи. Не приманиваю я сюда молодежи. Одни старухи…

– А Варька? Сами же видели…

– Что Варька? – Пистимея холодно блеснула глазами, поглядела на Клашку. – Уж коль на то пошло, это дело каждого – верить в Бога али нет. Свобода совести, по-вашему. Я никого не принуждаю. Вот и Клавдию мы тут не принуждали и не на веревке сюда ее привели. Пришла – сиди, слушай, не прогоним. А западет хорошее слово в душу – согреет теплом Божественным. И уж тогда, коль потребует душа излить за это благодарность Богу, перечить не станем. И сами помолимся, чтоб благодарность дошла и принята была с благословением. Для этого государство и молитвенные дома держать нам разрешило. Так же и с Варькой.

Разговор был долгим…

На улице Захар сказал:

– Не глупа. Песню эту больше не затянут. А насчет молодежи – ох, глядеть надо, мужики…

– Да глядим, кажется. И, кроме Варьки, вроде никто сюда не похаживает. Но ведь с Варькой… – Корнеев чуть приостановился. – В детскую еще душу заложила ей Пистимея это самое слово Христово. Попробуй вынь… Да что там Клавдия, ночевать собирается? Клавдия!

Никулина, кутаясь в платок, вышла из сеней и остановилась, низко уронив голову.

– Как же так, Клаша? – спросил Большаков негромко. – Вот уж расскажи кто днем, посмеялся бы над рассказчиком.

Клашка постояла-постояла и всхлипнула, шатнулась и упала на грудь к Корнееву, стоявшему ближе к ней.

– Борис Дементьевич… Захарыч… Не знаю я, как вышло… Все одна да одна, скоро двадцать лет – и все одна, – плача, говорила Клашка. – А чуть что – бабка Пелагея тут как тут: «Христос не забудет страждущих да жаждущих…» И сама Пистимея: «Зайди как-нибудь, не чужая, чай, остудится сердце. Если и умер Феденька – для нас он живой… Христос может воскресить человека из праха. Поверишь в Христа – и воскресит…» Вот и зашла. Из любопытства, может…

– Ну ладно, ладно, Клавдия… Что ты, в самом деле? – неумело и потому несколько грубовато сказал Корнеев, бережно поддерживая женщину.

Захар тоже подошел, тронул ее легонько за плечо:

– Клаша…

– Я никогда… Захар Захарыч… Борис Дементьич, слышите… и ты, Филимон… Я никогда не приду больше сюда… – И она оторвала от груди Корнеева мокрое, блестящее под лунным светом лицо. – Только вы забудьте… И чтоб никогда… словно и не было меня тут, словно не видели…

– Да само собой, об чем разговор! – поспешно промолвил Колесников.

– Ты иди-ка домой, отдохни…

Клашка вытерла ладонью мокрые щеки и пошла.

Большаков, Корнеев и Филимон постояли еще немного молча и так же молча пошли по грязи в другую сторону.

– Да-а… – промолвил через некоторое время со вздохом Корнеев. – А я читал недавно – брошюрка такая попалась, – сколько у нас еще церквей и молитвенных домов, сколько еще монастырей! Да две этих… духовных академии.

– Во-во… Сколько эти самые академии каждый год таких вот… утешителей выпускают! – буркнул зло Филимон. – И это кроме всяких там подпольных, не взятых на учет сектантов…

И еще несколько минут шли молча до самого дома Большакова.

Прощаясь, Захар сказал:

– А насчет Варьки вот… Пропадет девка, если мы как-то…

– Слушай, Захар. Попроси Иришку Шатрову, пусть подружится с ней. И может, она…

– Да я попрошу, объясню ей все. Только сдается мне, Боря, есть еще один человек, который… Словом, этот человек, однако, может сделать больше Иринки, больше всех нас, вместе взятых.

– А-а, Егор Кузьмин! – промолвил Колесников.

– Во-во! И ты приметил? Идут по улице как-то, у Егора все на лице написано, а Варька… Озирается пугливо, а тоже вроде ухо опростала из-под платка, чтобы слова не пропустить.

– Да ведь как к ним, чертям, подойдешь… Не прикажешь же – женитесь, дьяволы! Хотя… С Егоркой-то можно потолковать по-мужски. Но ведь Пистимея с Варьки глаз не спускает, держит при себе, как привязанную.

– Тут придумаем что-нибудь. Вот и давай, Филимон. Я – с Иринкой, ты – с Егором. И какое спасибо нам Варька потом скажет! Ну, еще раз прощайте.

Глава 4

В последних числах июля сеногной наконец прекратился. Однажды с полудня клубы тяжелых, как густой дым, туманов оторвались от земли, поползли все выше и выше. К вечеру они перекатывались уже высоко над головами, сбивались там в неуклюжие облака, а ночью вдруг поплыли за тайгу, как тяжелые, неповоротливые льдины в густой ледоход. Перед рассветом ледоход стал пореже, в открывшиеся разводья просыпались первые горсти звезд. А утром, как ни в чем не бывало, засияло на чистом небе солнце.

Сена во всех бригадах удалось спасти немного. Добрая половина так и сгнила.

– Ну что будем делать, друзья-товарищи? – грустновато спросил Захар, когда зеленодольцы дометали последний стог. – В других бригадах еще хуже. Чем кормить скот зимой будем?

– А что тут… – махнул рукой Устин. И добавил, будто оправдывался, хотя его никто не обвинял: – Во всем районе так.

– Петька Смирнов, редактор, вчерась приезжал. В других колхозах, говорит, и того не могли сберечь, – указал Анисим Шатров на редковатый строй островерхих невысоких стожков.

– Мы хоть как-никак кукурузу не потеряли, – сказал Устин. – А во всем районе так и погнила на корню.

– Сомневаюсь, – вставил Андрон Овчинников свое любимое слово, но никто так и не понял, в чем он сомневается.

Захар разрешил людям немного отдохнуть. Но через день-другой ожила, загудела, зазвенела железом ремонтная мастерская, затюкали топорами плотники в недостроенной конторе, закопошились люди вокруг водонапорной башни. Кладка круглого тела башни давалась каменщикам-самоучкам нелегко, а Моторин целыми днями сам держал в руках мастерок, растолковывая и показывая, как управляться с кирпичами.

Но основные силы всех бригад Большаков бросил теперь на раскорчевку леса. День и ночь над тайгой стоял надрывный тракторный вой и треск выворачиваемых деревьев.

Однажды председатель вызвал в контору Варьку Морозову. Несмело перешагнув порог, она прижалась к косяку.

– Вот что, красавица, – сказал Захар. – Поедешь в тайгу, к раскорчевщикам, поварихой. Там людей Мироновна кормит, но сейчас едоков сильно прибавилось, ей одной не управиться. Будешь помогать ей.

Варька сперва пошевелила плечами, поежилась, будто ей было холодно. Потом сказала еле слышно:

– Ладно.

Через полчаса, как Захар и ожидал, в контору заявилась Пистимея.

– Не пущу дочку! – закричала она с ходу. – Еще чего выдумал – девку к мужикам! Мало ли в деревне работы.

– Это уж мое дело, куда кого послать, – спокойно сказал Захар. – И не одна она, Варька, будет среди мужиков. Там Мироновна, там…

– А я говорю – не пущу! Я уж, коли так, вон любую сестру во Христе в помощь Миронихе уговорю. Мало одной – две…

– А я говорю – поедет! – хлопнул ладонью по столу Большаков. – Что это за штуки еще такие? В доярки дочь твою нельзя, в свинарки тоже – в отлучке из деревни за километр-другой, видите ли, придется Варьке бывать. Чего ты за нее боишься? Никто ее не тронет… В общем, чтоб не ныла мне больше тут! Ступай собирай дочку…

В обед Большаков встретил возле пыхтящей электростанции Морозова, проговорил:

– Сколько же с твоей женой насчет Варьки воевать, Устин? Как-то оно получается у нас не так.

Морозов нахмурился, сплюнул на землю.

– Да я уж и сам с греха сбился. Всю душу вымотала она с меня, ладанка ржавая, – сказал о своей жене Устин. Сказал со злостью, почти с ненавистью. И, помолчав, добавил решительно: – Ничего, поедет.

К вечеру этого же дня Варька действительно была уже в тайге, за Чертовым ущельем, сидела на низенькой скамеечке возле лесного ручья и чистила картошку, обмывая ее в студеной воде.

Совсем рядом где-то трещало, ухало, рвало, и Варька каждый раз взмахивала длинными ресницами, а потом вздрагивала.

– Ничего, корчуют матушку, – говорила Мироновна, пожилая, мягкая, круглая женщина. – С корнями выворачивают. Иная сосница уж так крепко сидит – возятся-возятся с ней. Придут мужики обедать – все промокшие от поту. А ничего, вывернут-таки. Корнища-то вскинет дерево в небо, а в корнях – гора земли. А интересно глядеть. Завтра вот сходи-ка погляди.

– Что ты, что ты… Зачем я пойду?

– Так, интересно, говорю. Ну, айда печь растапливать! Как бы еще поспеть нам с ужином. Скоро накатится горластая орава.

Печь с большими котлами была сложена на расчищенной от леса поляне. Вокруг печки стояли полукругом длинные, сколоченные из неоструганных досок столы. За столами – несколько дощатых вагончиков, в которых жили колхозники…

«Горластая орава» действительно накатилась. С шумом, с гамом, с хохотом высыпала из-за вагончика толпа перемазанных грязью и машинным маслом людей.

– Мироновна, горяченькой воды – отмыться бы!

– Чего-то, братцы, сильно запашистый дух от котлов сегодня.

– Всегда так – как соберусь в деревню, к жинке на ночь, тут ужин как для королей.

– Не облизывайся, мотай скорее. А то уж заждалась, поди, с обеда в окно глядит.

– Николаха, заправь там мотоцикл мой!

– Братцы, да ведь у нас повар новый! Варька, ты, что ли?

– Вон отчего ужин-то сегодня особый!

– Какая Варька? Морозова, что ли?

– Братцы, я тоже хотел в деревню. Однако не поеду теперь…

Мужчины и парни сгрудились вокруг Мироновны и Варьки, гоготали, дымили папиросами, отпускали шуточки, пока Мироновна не замахнулась на них половником:

– Хватит вам… Разоржались, как жеребцы! Варюшка, вон с того котла дай им горячей воды помыться.

…После ужина некоторые действительно укатили на мотоциклах по деревням. Две группы мужиков при свете от аккумуляторов долго стучали по столам костяшками домино.

Варька лежала в вагончике с открытыми глазами, слушала, как хохочут за стенкой мужчины, что-то рассказывая друг другу.

В каком-то вагончике работал батарейный радиоприемник, далеко оглашая тайгу веселыми песнями.

Уснула она почти перед рассветом. Но утром поднялась бодрая, не ощущая никакой усталости. Незнакомый парень в майке, видимо из какого-то другого села, колол для поварих дрова вместо физзарядки.

Дня через два-три Варька все-таки пошла поглядеть, как корчуют тайгу. Оказалось, очень просто. Небольшие сосенки и ели захватывают стальными канатами и тащат тракторами прочь. Могучие же деревья сначала спиливают, затем пни выворачивают корчевальными машинами и заравнивают бульдозерами образовавшиеся ямы.

Растопыренные корневища деревьев валялись всюду. «Ну да убрать их уже пустяки», – подумала почему-то Варька и пошла назад.

А еще через день в тайгу приехал верхом на низкорослой лошаденке Егор Кузьмин.

– Покорми, Мироновна, – попросил он. И, поглядев на Варьку, прибавил: – Езжу вот по лесу, ищу, где какой клочок можно хоть литовками выкосить. И Захар тоже ездит, и все бригадиры. Да что…

– Варвара, налей мужику, – сказала Мироновна, перетирая чашки.

Егор года три назад овдовел. С тех пор ходил всегда какой-то мятый, сумрачный и немного растерянный. И Варьке было его всегда жаль.

Ел Кузьмин не спеша, склонив крупную, угловатую голову над чашкой, словно раздумывал над каждой ложкой – отправлять ее в рот или нет? «Однако не нравится ему наш суп», – решила Варька. Он еще не выхлебал и полчашки, а она подставила ему миску с мясом и картошкой.

– Ага… Ну да, – встрепенулся виновато Егор, торопливо отодвинул суп. Но и второе ел тоже будто с неохотой.

«Все о ней думает. О жене», – решила про себя Варька и неприметно вздохнула.

Детей у Егора не было. Все эти три года Кузьмин жил в одиночестве, и, проходя иногда вечером мимо его дома, Варька всегда глядела на светящиеся окна и думала: «Тоскливо, поди, одному-то в пустых стенах».

Каким-то образом Егор узнал, что ли, про эти ее взгляды (может, иногда видел) и при случайных встречах несколько раз пытался заговорить. Она испуганно убегала.

– Скажи-ка, Варвара, чего ты пугаешься меня? – спросил он ее однажды, загораживая дорогу.

– Вот еще! – опустила она голову. – Пусти давай, еще чего… Не дай бог, увидит кто…

Егор посторонился.

Потом еще встречались на улицах, перекидывались тремя-четырьмя ничего не значащими словами. В деревне это, конечно, незамеченным не осталось. И пошел слух, что у них с Егором любовь.

Никакой любви не было, и вообще ничего не было. Но Варька, кажется, хотела, чтоб была.

Хотела и знала, что ее желание пустое, несбыточное вовеки. Никогда, ни за что мать не разрешит ей выйти замуж.

– Корчуют, значит, – услышала Варька голос Егора и вздрогнула. – Ишь какой треск идет!

Варвара привыкла уж к реву тракторов, к шуму и треску выдираемых из земли деревьев, к крикам колхозников, не обращала на них внимания.

– Ага, корчуют…

И вдруг что-то случилось с ней, захотелось убежать от этого шума и рева, от внимательно разглядывающих ее светло-зеленых глаз Егора, от самой себя.

– За свежей водой… сбегаю! – крикнула она и схватила ведро.

– Куда нам! – проговорила Мироновна. – Вон еще полная бочка.

– Все равно…

Варвара остановилась на берегу ручья, прислонилась спиной к дереву, бросила ведро в траву и закрыла горящие щеки руками. «Так лучше, так лучше, – лихорадочно колотилось в ее голове. – Пусть уезжает скорей, скорей! Потому что все равно ничего, ничего… Не разрешит мать, не разрешит… А без благословения как можно? Грех, грех… Испепелит Христос. А раз так – зачем?…»

Понемногу она успокоилась, опустилась на колени в траву, сложила руки на груди, запрокинула голову и начала шептать молитву. Косы ее упали на землю.

Когда встала, увидела: Егор в пяти шагах поит из ручья коня, держа повод в руке. Когда он привел лошадь – она не слышала.

Варвара во время случайных встреч в деревне каждый раз опасалась, что Егор заговорит с ней о Боге, как заговаривали с ней многие, насмехаясь над ее верой, не вызывая в ней ничего, кроме холодной неприязни, смешанной с некоторой долей жалости к заблудшим, обреченным рано или поздно на погибель людям. Однако Егор не заговаривал. Но сейчас, проходя мимо, он, конечно, видел, что она молилась. И уж сейчас, она чувствует, обязательно что-нибудь скажет богопротивное. «Ну и пусть. И пусть…» Это даже к лучшему, даже поможет ей замкнуться в привычную холодную скорлупу.

Но Егор, напоив коня, сказал совсем о другом:

– Я, между прочим, Варвара, ради тебя ведь завернул сюда.

– Вот уж… – От неожиданности девушка растерялась.

– Оно, конечно… – усмехнулся Егор. – Я сейчас вон в ближайшую балку загляну – нельзя ли там копешку-другую наскрести. А как сосмеркается, подъеду сюда, а? Выйдешь?

– Да… зачем?! – прошептала Варька, чувствуя, что опять вся вспыхивает.

– Я и говорю – оно, конечно… – опять повторил Егор. – Мне уж сорок лет. По свиданиям-то вроде и неловко шастать. Засмеют мужики, коли узнают… Так выйдешь?

– Нет, нет, что ты! Ночью?!

Егор подтянул подпругу.

– Что ж ночью… Днем-то мне и вовсе стыдней. Я не баловник какой-нибудь. – Егор вскочил в седло.

– Я же в Бога верю! – почти простонала Варька. – А ты…

Егор вынул кисет, свернул папиросу.

– Чего – я? Отец вон твой безбожник, да ведь всю жизнь прожил с твоей матерью. Ты слышь – подъеду.

Варька стояла, опять прислонясь к дереву, дрожащими пальцами то заплетала, то расплетала косы. «Нет, нет, не приезжай!» – кричали ее черные, как у отца, глаза. Но язык не повиновался.

Егор тронул коня.

…Всю эту ночь Варька металась по жесткой постели, несколько раз вставала, подходила к маленькому, запотевшему от ночной прохлады оконцу, падала на колени, исступленно молилась. Ложилась, опять вставала…

Но выйти из вагончика так и не осмелилась.

До уборки ржи колхозники успели отвоевать у леса еще гектаров около двенадцати. Но вслед за рожью поспели овсы, а там пшеница – и пошла, зазвенела страда. О раскорчевке теперь до следующего лета нечего было и думать.

Урожай зерновых вышел нельзя сказать чтобы отменный. Середнячок урожай, а может, и пониже – сказалась все-таки и свирепая засуха в начале лета, и наступившая следом затяжная непогодь. К тому же хлеба вызрели поздно. Времени для уборки было меньше чем в обрез. Несмотря на это, Захар все-таки во всех бригадах выделил группы косцов, которые беспрерывно мотали косами по таежным опушкам, лесным полянам, высмотренным Егором Кузьминым, бригадирами да и им самим. В тайге, возле круглого Камышового озера, в Пихтовой пади, бригада Морозова с горем пополам поставила несколько стожков. Ждали отаву… Кошенина вроде сразу же покрылась тонким зеленым ковриком. Но после сеногноя не упало ни одного дождя, и отава, не успев отрасти, ушла под снег.

Не дожидаясь конца уборки, когда освободятся тракторы и автомашины, председатель отдал распоряжение всем бригадам возить сено к фермам пока на лошадях. Возили его зеленодольцы, как и все другие, невесело. Прелые, сухие пласты не пахли луговым разнотравьем, как обычно. Андрон Овчинников, утрами являясь на конный двор к Фролу, прежде чем запрячь

лошадей, долго курил, разговаривал с Кургановым о том о сем… Подходили другие возчики. Андрон на правах старшего усаживал и их курить.

– Давай разбирайте лошадей! – поторапливал их всегда Фрол.

– До белых-то мух успеем. Куда нынче торопиться… – невозмутимо отвечал Андрон. – Еще вот маленько повозим, да и кнут набок. Освободим нынче трактористов от вывозки.

Фрол не выдерживал и в сердцах кричал:

– Стебли вареные! За день можно трижды обернуться, а вы два раза еле успеваете…

Однажды на конный двор заглянул Корнеев:

– Ты чего там с подводой для огородниц мудришь? У них огурцы пропадают. Никулина два раза жаловалась.

– Сено же возим, – сказал Курганов.

– Сено успеется, теперь не сгниет. Больше чтоб не слышал от Клашки жалоб! Ей и подводу-то на два дня надо.

Когда агроном ушел, Фрол Курганов снял со стены конюшни уздечку, надел ее на рослого мерина.

Запряг коня в бричку-бестарку и не спеша поехал на колхозные огороды.

Ехал и думал – куда же это он едет и зачем?

Уже много дней стояла у Фрола перед глазами такая картина. Сидит Клашка Никулина на мокрой копне среди луга, рядом с председателем, и жжет Фрола злыми глазами. Вокруг стоят Филимон Колесников, бухгалтер, Анисим Шатров, его внучка… У этой глаза еще злей, и будь у нее такие же кулаки, как у Филимона, она бы измолотила его, Фрола, тут же, не раздумывая.

Но это бы ничего, текли мысли Фрола дальше, наплевать бы и на старика Шатрова с его внучкой, и на самого председателя, и на других… Все знают – мало ли за всю жизнь было у Фрола стычек с Захаром! Все понимают: прожить бок о бок в одной деревне да не задеть друг друга локтем – все равно что бежать по лесу да не натолкнуться на ветку.

Все бы ничего, кабы не эти Клашкины глаза…

Они разбудили его однажды ночью. Вдруг ни с того ни с сего приснился ему недавний случай на лугу. Прохватившись от сна, Фрол даже плюнул со злости и… продолжал, ворочаясь с боку на бок, до света думать о Клашке: ведь именно так и смотрела она тогда на него. И так же, конечно, глядела на него из темноты, когда вечером, выполоскав белье, сидела рядом с ним на траве.

Миновал день, другой, а наваждение не проходило, стоит перед глазами проклятая баба – и все!

А недавно пришла к нему на конный двор с огородов дочка Натальи Лукиной Ксюха, длинноногая застенчивая девчонка, и сказала, забрасывая за спину тяжелую косу:

– Тетя Клаша подводу просила огурцы вывезти. Бригадир велел у вас спросить. Конечно, нам бы сподручнее автомашиной, да они все на уборке. Тетя Клаша просила сегодня же…

Чуть-чуть не взорвался Фрол. И так целыми днями торчит в голове эта чертова Клашка, а тут еще напоминают про нее! Но сдержался, буркнул только:

– Ты… чего тут вожжи размотала? Ступай, без тебя знаем.

Фрол выпроводил Ксюху, но подводу на огород так и не направил. Ксюха приходила еще два раза и уходила ни с чем, потому что Фрол поставил неожиданно для самого себя условие: пусть сама Клашка придет за лошадьми. И только сегодня, когда агроном спросил: «Чего там с подводой для огородниц мудришь?» – решил дать подводу. Но, опять-таки неожиданно для самого себя, поехал на колхозный огород сам.

– Это куда? – спросил у него Анисим Шатров, отправляя паром.

– На кудыкину гору, – бросил Курганов, не глядя на него.

– Ишь ты… – Старик присел на телогрейку, брошенную в углу парома, стал сосать холодную трубку. А в висках у Фрола вдруг больно застучало: «Грех да позор… как дозор… нести надо…»

В висках стучало потом всю дорогу, до самых огородов.

Клавдия не удивилась, что Фрол приехал сам. Презрительно сложив губы, она стала насыпать в корзину из огромной кучи перезрелые и желтые, как кукурузные початки, огурцы и вываливать их потом в бричку.

Фрол молча стоял рядом, не зная, что сказать, что делать, глядел на маячивших кое-где баб, обиравших с грядок огурцы и помидоры.

– Помог бы хоть, – язвительно сказала Клашка.

Фрол торопливо кинулся наполнять корзину.

– Да сама насыплю, – остановила его Клашка. – Вываливать в бричку пособи.

Курганов покорно взял корзину за плетеные ручки и, легко подняв, опрокинул над бричкой.

Когда бричку насыпали с верхом, Клашка тяжело разогнулась, схватилась рукой за спину.

– Что, болит? – участливо спросил Фрол.

Клашка раздраженно ему ответила:

– А у тебя вот ни спина, ни совесть, видно, не болят.

– Недавно вроде другое говорила… что мне перед самим собой стыдно, – как-то обиженно проговорил Курганов.

– Не прикидывайся-ка! – сказала Клавдия. – Ишь обидчивый какой…

Фрол смотрел на ее грязные босые ноги с широкими ступнями, на забрызганный помидорным соком подол и думал почему-то, что ночами Клашка, наверное, лежа вниз лицом на своей постели, вдавив в подушку тугие, не трогатные никем груди, плачет от своего бабьего одиночества.

– Дура, – сказал он вдруг ей ласково.

– Может, и дура, – согласилась она. Но тут же голос ее опять окреп и зазвенел: – Только хватило бы ума, будь я на твоем месте, подводы вовремя давать. Кому теперь эти деревяшки нужны? – Клашка схватила желтый и твердый, как камень, огурец, ткнула им чуть ли не в лицо Фролу и бросила обратно в бричку. – Неделю назад труд наш чего-то стоил, а теперь все за бесценок пойдет.

«Так уж и за бесценок?» – хотел он сказать, но вместо этого проговорил, чтобы успокоить ее:

– Ты трудодни получишь одинаково. Что сейчас, что тогда свезли бы огурцы на рынок…

– Трудодень запишут, да на трудодень натечет с этих огурцов шиш два уха! Татьяна! – закричала она женщине, обиравшей грядки. – Отвези в деревню – да той же минутой назад! Сегодня дотемна возить будем.

– И куда тебе одной-то много денег? – попробовал пошутить Фрол.

– Впрок коплю! – зло отрезала Клашка. – Вернется вот муж – чтоб до конца жизни ему хватило. Посажу его в комнату – и мухе сесть не разрешу. Окно занавешу – и любить буду. За все двадцать лет, что жду его, отлюблю…

– Да ты умеешь любить-то? – спросил Фрол. – Тебе еще, поди, учиться надо.

Но Клашка не ответила. Она подняла пустую корзину и пошла прочь.

Был полдень. Солнце, как перезревшая дыня, висело над головой, обмывало землю густыми лучами. Теплый ветерок бил Клашке в бок, трепал волосы, запрятанные под ослепительно-белый платочек. Клашка то и дело нагибалась, одергивая подол юбки, – очевидно, чувствовала, что Фрол безотрывно смотрит ей вслед.

И Фрол смотрел, видел всю ее фигуру, крепкую, стройную, немного располневшую, но все еще почти девичью. Он отвернулся, когда Клашка Никулина глянула вдруг назад и погрозила ему кулаком. Может, она что-то крикнула, но из-за ветра не было слышно.

Глава 5

Октябрьские праздники торжественно отметили в колхозном клубе.

Доклад о сорок третьей годовщине, если это можно было назвать докладом, сделал секретарь райкома партии Григорьев. Расхаживая по сцене и время от времени поглаживая бритую голову, он как-то по-домашнему вспоминал годы своей молодости, работу в продовольственном отряде, затем говорил о коллективизации на Дальнем Востоке, об организации первых зимовок в Арктике, об участии в жестоких боях под Москвой… Оказывается, этот человек испытал кулацкие пытки, чудом избежав смерти, едва не утонул в Северном Ледовитом океане, помогая попавшим в беду товарищам, перенес несколько ранений в Отечественную, два из которых чуть не оказались роковыми.

Зал был набит битком. Люди внимательно слушали Григорьева. По лицам многих колхозников можно было безошибочно определить – нечасто им приходится слушать таких диковинных докладчиков.

Только по лицу Фрола Курганова нельзя было понять, что он думает. Поблескивая орденами Славы всех трех степеней, с которыми пришел с войны, Фрол сидел в четвертом ряду неподалеку от Устина Морозова, чуть нахмурив брови. Устин же, в новом темно-синем костюме, смотрел на секретаря райкома чуть удивленно и осуждающе: дескать, чего это подвиги ты свои расписываешь?

Григорьев, будто прочитав мысли Морозова, остановился возле дощатой трибунки и сказал:

– Вы думаете, наверно: «Ну и чудак человек, этот секретарь райкома! Чего это он о себе тут распространяется? Расхвастался…» А я ведь не о себе говорю. Подумайте-ка сейчас в этот день каждый о своей жизни, припомните некоторые подробности. И я уверен, что жизнь многих-многих из вас напоминает чем-то мою, а у некоторых, бесспорно, еще интереснее. Я знаю, как, например, воевал в Гражданскую ваш председатель Захар Захарович Большаков, как он жил и боролся за новую жизнь все последующие годы. Я слышал, как дрался в Отечественную с врагом ваш сын, Устин Акимович, Федор Морозов, которого, к сожалению, нет сейчас рядом с нами. Я знаю, как воевал Фрол Петрович Курганов. Об этом говорят его ордена…

Фрол расправил нахмуренные брови, чуть выпрямился в кресле, оглядел зал. Глаза его на секунду задержались на Клавдии Никулиной, сидевшей неподалеку, возле стенки. Морозов же, наоборот, опустил голову, спрятав от всех глаза.

Захар Большаков едва сдерживал волнение. Ведь не торжественные, не громкие, а самые что ни на есть простые и обыденные слова произносил секретарь райкома, произносил без всякого пафоса, приглушенным, спокойным голосом. А глаза пощипывало, в груди что-то возникало горячее, радостное, волнами растекалось по всему телу. И Захар почти физически чувствовал, как прибывают в эти секунды силы.

– …Так как же нам, как же каждому из нас, дорогие мои друзья и товарищи, не гордиться своей жизнью, если эта жизнь – борьба! – продолжал меж тем Григорьев. – И в такие вот праздники, как сегодня, мы каждый раз будто впервые видим, каких же хороших успехов добились в этой борьбе! Видим и удивляемся. Потому что невольно начинаем думать: что было и что стало?! А ну-ка, товарищи, давайте сейчас, вот здесь, на нашем собрании, попытаемся сравнить, что было у нас прежде и что есть теперь…

С самого начала собрания Захара не покидало ощущение: кто-то безотрывно смотрит и смотрит на него. Тем более такое ощущение казалось странным и необычным, что он сидел в президиуме и, конечно же, на него смотрели все.

В глубине сцены за фанерной перегородкой раздавались суетливые шаги, шепот, звуки осторожно передвигаемых столов и стульев – там Иринка Шатрова командовала подготовкой к выступлению самодеятельности.

В разных концах зала Большаков видел Колесникова, Кузьмина, Зиновия Марковича, Митьку Курганова – этот демонстративно развалился на первом ряду («Учуял, шельмец, что и ему премию будут выдавать», – подумал Захар), Сергеева, Моторина, Пистимею Морозову… Стоп! Не ее ли взгляд он ощущает на себе весь вечер?

Еще вчера Захар, увидев Морозову на улице, специально свернул ей навстречу. Поздоровавшись, проговорил:

– Не запамятовали твои старушки – завтра у нас большой праздник…

– Как же, знаем… Красное число в календаре.

– Не просто красное число, а большой, самый дорогой для советских людей праздник, – еще раз отчетливо произнес Большаков.

– Так я и говорю…

– Вот-вот… А то, думаю, забудете.

И пошел своей дорогой. Он знал – этого достаточно, чтобы Пистимея привела своих старух на торжественное собрание.

И она привела. Старухи сидели кучкой, прижавшись друг к другу, точно заняли круговую оборону, почти на самых последних рядах. Помаргивая, они старательно глядели на докладчика. Только сама Пистимея смотрела почему-то безотрывно на Большакова, воткнувшись взглядом ему в грудь, на которой поблескивали орден Трудового Красного Знамени, полученный еще в довоенные годы, и два ордена Ленина, которыми Захар был награжден в сорок четвертом и пятьдесят третьем.

…Так она и не оторвала глаз от его груди весь вечер. «А дочери ее все-таки нету в клубе, – подумал Захар, когда раздались шумные аплодисменты. – Все-таки не пустила ее на собрание, старая песочница».

Затем слово взял Корнеев, считавшийся заместителем Большакова, и сообщил, что правление решило премировать особо отличившихся колхозников. А Захар пошел за кулисы.

Иринка уже заканчивала одевать для концерта своих девчат и ребят.

– Почему Варвары нет в клубе? – спросил он у нее.

Девушка устало вздохнула:

– Ой, дядя Захар… Замучилась я с ней. Сегодня утром часа два уговаривала. Плачет – и все. Правда, обещала в конце концов прийти…

– Нету же.

– Мать ее замкнула.

– Это как же?

– Да как! Ушла – на дверь замок. Я постучала в окно. «Вылазь», – говорю. Окно-то еще не замазано у них. Да… боится.

Захар помолчал, проговорил невесело:

– Худо, Иришка! Как же так? Бессильны, значит, мы?

И пошел на сцену, где вручали уже под гром аплодисментов премии.

– Дядя Захар! Дядя Захар! – воскликнула девушка. – Я сейчас еще раз схожу… Девочки, вы тут не теряйтесь без меня. Галка, твой номер первый, поторапливайся… Я еще попробую, дядя Захар.

– Попробуй, – ответил Большаков. – Если осмелится Варька сегодня выйти из дома, большое ты дело сделаешь, дочка.

Когда Большаков вернулся на сцену, ни Пистимеи, ни богомольных старух в зале уже не было. «Уползли-таки, старые каракатицы, – с досадой подумал Захар. – Теперь Иришке бесполезно идти, не успеет…»

…После вручения премий Захар вышел из клуба. Надо было проверить скотные дворы, позвонить во все бригады. Чего греха таить, нередко во время праздников кое-где то скот забывали покормить, то электростанцию оставляли без присмотра.

Возле колонн Большаков услышал девичьи голоса:

– Да идем же, идем, Варя… Галя Трушкова сейчас петь будет. Вон уж поет, кажется. Потом Нина Воробьева, потом я… После концерта танцы устроим. Очень, очень весело будет…

– Не-не могу я, не могу! И так… Господи, что теперь будет!

– Вот чудачка! Да что же случится такого? Ничего. Не понравится – уйдешь.

– Нет, нет… Если еще и в клуб, то матушка… Да и насмешки там всякие.

– Какие еще насмешки? Чего выдумала! А потом, говорю, танцы устроим. И слушай – там ведь в клубе…

И Шатрова перешла на шепот.

Захар стал за колонну. О чем шептались Ирина с Варварой, он теперь не слышал. Только временами до него доносились не то всхлипы, не то вздохи да отдельные слова: «Господь», «грех», «матушка»…

В конце концов Ирина все-таки втащила упирающуюся Варвару в клуб.

«Молодец, Иришка! Успела!» – подумал Большаков и пошел на электростанцию.

А успела она потому, что Пистимея Морозова в это время сидела в доме Клавдии Никулиной и выкладывала на стол зажаренного целиком поросенка, штапельный отрез на платье, небольшую палехскую шкатулку, несколько кусков кружев, два ситцевых платка и Евангелие.

– Вот, доченька, прими ради праздничка. От чистого сердца сестрицы прислали.

Сама Клашка металась по комнате из угла в угол и выкрикивала:

– Зачем?! Зачем?! Что ты все ходишь ко мне!

– Ведь не чужие, чай.

– Отстань ты от меня ради… Я тебе давно сказала – не пойду, не пойду больше в ваш молитвенный дом.

– Да разве я тебя зову туда, доченька? – с укором произнесла Пистимея.

Клашка села к столу, положила на него руки, уронила на них голову и заплакала. Пистимея погладила ее по волосам, вздохнула:

– Страдалица сердешная!

Клашка подняла голову, вытерла слезы, поправила выбившиеся из-под платка волосы и, беря себя в руки, сказала, отодвигая разложенные на столе подарки:

– Убери сейчас же.

Пистимея, вздохнув еще раз, проговорила строго:

– Как хошь, как хошь, – и принялась складывать в сумку кружева и платки. – От колхоза приняла бы небось подарки. Да не дали.

– Давали, когда было за что. А нынче – не за что.

– Не за что, – произнесла Пистимея раздумчиво, чуть нараспев. И еще раз, прислушиваясь к своему голосу, повторила: – Не за что… Да ин ладно уж… Сестрицы только обидятся.

– Да поймите же – никого я не хочу обидеть.

– О-хо-хо… – простонала Морозова. – Это, может, и так. Да ведь часто обижают не потому, что хотят. Они ведь, сестрицы во Христе, до-олгую жизнь прожили. И они, присылая гостинцы, знают, есть за что или нет. Да ладно уж, они-то поймут и простят. Но… дите неразумное, сама ведь себя обижаешь, бессердечная.

– Пистимея Макаровна… уходи! И без того мне… Оставьте меня в покое, – из последних сил умоляюще прошептала Клавдия.

– Уйду, уйду, Клашенька! Я ведь не сержусь, знаю: настанет день – сама позовешь меня, сама к нам придешь.

– Н-нет, нет…

– Придешь, касатушка, – ласково повторила Пистимея. – Бог управляет всем миром вместе и поведением каждого человека в отдельности. И твоим вот тоже. Да-авно ты живешь по его, властителя нашего и заступника, заветам.

– Никаких заветов я не слыхала от него. Я сама по себе живу.

– Вот ить какая ты… Чуть чего – сразу жало навстречу. И не услышишь, если этак-то. Но все равно не сама по себе. Многие ли, которые сами по себе, по стольку ждут своих мужей? Чего встрепенулась?

– Ничего, так я…

– Ну вот. Не хватает почто-то силушек у других? Ну год, ну другой, третий от силы – и захлестывает их мирской грех. А ты – ровно святая. С чего силы-то?

– Люблю я Федю. С того и силы.

– Ну… пусть так, – уступила Пистимея. – А надолго ли еще хватит твоей силы?

– На всю жизнь, – выдохнула Клашка.

– Ой ли! Соблазн в разных видах ходит. Возьмет да перейдет ненароком дорогу.

– Пистимея Макаровна!!! – воскликнула невольно Клашка.

– Али перешел уж? – Старуха вытянула шею, повернула к Никулиной свою маленькую головку.

А Клавдия опять упала грудью на стол.

Несколько минут она беззвучно плакала. Старуха сидела рядом, плотно сжав сухие губы, не моргая глядела на вздрагивающую спину немолодой уж женщины.

Наконец легонько положила высохшую руку на горячее Клашкино плечо, заговорила:

– Одно пойми, моя хорошая, – Бог тебя до сих пор поддерживал. И Христос, заступник наш перед Богом, не единожды поручался за тебя перед Господом. Христово слово веское, и Бог терпелив, но доколь же?! Нынче летом совсем было ты вняла его зову, да… Кого испугалась, кого засовестилась? Захара, что ли, с Корнеевым? Им что! Твой огонь их не жжет.

– Пистимея Макаровна! – всхлипнула Клашка. – Да что же это такое…

– Так я же и объясняю, доченька. С того дождливого вечера и начал соблазн пересиливать тебя.

– Я же им слово дала – не ходить больше в молитвенный дом! – воскликнула Клашка.

– Господи! Да ведь я сказала уж – не зову тебя туда. Не хочешь – не надо. Только вот чую – без Бога тебе не выдержать больше, погрязнет в срамоте душенька твоя чистая. Богу больно будет, да ведь что поделаешь… Силком к себе он никого не тянет.

И вдруг Пистимея тоже заплакала скупыми старческими слезами.

Но плакала она недолго. Вытерев концом платка тонкий нос и глаза, сказала:

– Вот и говорю – сама себя ты обижаешь, Клашенька. То начала уж распускать веточки, как березонька, а потом ободрала их сама же, повыломала… Ну, пойду, засиделась. А эти подарочки-то возьми уж, а? Там как ты решишь – Господь тебе простит. А сестриц моих не обижай уж. Я оставлю на столе, слышишь, Клашенька?

– Оставь, – прошептала Клавдия, помедлив.

Пистимея встала, оделась, пошла к двери. У порога проговорила осторожно:

– Там, Клашенька, Евангелие святое. Ты почитай-ка, лебедушка. В сам деле незачем тебе в наш молитвенный дом ходить. Нечего Захарку дразнить и прочих скандальников. Степанидушку вон тоже Фрол не пускает к нам, даже книжки святые в печь бросает. А ты живешь одна, ничего… Коли что будет непонятно, я Пелагеюшку пришлю. А то сама объясню когда. А не найдешь в Евангелии ничего для облегчения души – заберу книгу. Но ты найдешь обязательно. Ты только почитай, почитай… Слышь?

Никулина, вероятно, слышала. Но она ничего не сказала.

Пистимея постояла еще у порога, подождала и толкнула плечом дверь.

Глава 6

До самого декабря с неба на закостеневшую землю сыпались только редкие сероватые снежинки. Утрами земля, крыши домов и лес были покрыты тоненьким слоем невесомого пуха. Ветерок сдувал его с крыш, с ветвей деревьев, гонял вдоль улиц, забивал им мерзлые неглубокие колеи, наметал сугробики у плетней.

Но едва вставало солнце, насыпавшийся за ночь снег все же таял, улицы деревни становились ослизлыми и липкими, точно их залили яичным белком.

– Тьфу! – плевался Антип, целыми днями болтавшийся по пустынной, затихшей после горячей страды деревне. – В городе для себя-то небось камнем улицы выложили да эти… асфальты всякие понастилали. А люди, значит, и так пусть, в грязи, потому что ничего, мол, пускай, постольку-поскольку…

– Аринка вон Шатрова, говорят, заставляет председателя асфальтировать улицы, – сказал однажды вечером Антипу Фрол Курганов.

– Чего? – удивился Антип, остановился средь улицы и захлопал глазами.

– Захар, сказывают, обещал…

– Хо! – воскликнул вдруг Антип. – А что им, и зальют! Не из своего кармана. Людского труда не жалко. Выкамаривают, понимаешь… Антилегенты! Сперва деревянные кладки им положь вдоль улиц, а потом, значит, асфальту налей.

– Разве плохо?

– А что хорошего? Ни стебелька, ни травки… одна твердость. Спокон веков жили – ничего. А ныноче иначе… Вчерась я в новой конторе был. Егорка Кузьмин тоже к председателю: водопойка, дескать, в каком-то коровьем стойле испортилась, надо новую. Я говорю: «А вы бы еще сортиры там понаставили фарфоровые каждому животному, эти… которые по-городскому унитазом называются…» Ка-ак Захар на меня… Ну да ладно. Прощай покудова…

И Антип нырнул в темный зев сенок, как хомяк в нору, но тотчас высунулся оттуда.

– Постой… ты, сказывают, того, а? – Антип подбежал к Курганову. – Под Клашку-то, слух идет, сенца стелешь, а? На огороды, значит, самолично к ней ездишь?

Фрол тряхнул Никулина за грудки так, что у того зазвенело в голове.

– Кто… сказывает?!

– Фролка! – взвизгнул Антип. – Жилу ить шейную порвал, обормот…

– Кто говорит, спрашиваю! – угрожающе повторил Фрол, не отпуская старика.

– Да кто… Бабы вон болтают. А также Андрон Овчинников. Да я что! Стели под стерву… Бросила отца-то, кобылица. Отца-то…

Фрол оттолкнул Никулина, точно кинул его обратно в темный зев сенок, и широко пошагал к избе Овчинникова.

Андрон, несмотря на ранний час, уже спал, похрапывая, на кровати.

Фрол сдернул с него одеяло.

– А? – вскочил Андрон – протер глаза. – Фу-ты… Я думал, баба убралась уже по хозяйству.

– Ты… кнут размокший! – крикнул Фрол. – Ну-ка повтори, когда это я с Клашкой… под Клашку…

– А-а… про Федьки Морозова вдову-то? – протянул Андрон. – Я и говорю – сомневаюсь, а он с усмешкой: «Сомневался Данила, пока дочь не родила…»

– Кто «он»?

– Да этот, Купи-продай.

Курганов сорвался с места и выбежал, оставив Андрона в недоумении.

Андрон зевнул, почесал правой рукой левый бок, раза два клюнул носом и всей спиной упал на подушки.

А Фрол стремительно шагал к Юргину. Но постепенно замедлял и замедлял шаги, так как ему еще в избе Овчинникова стало уже ясно, откуда идет слух о нем и Клашке.

Возле невысокого, в девять венцов, но огромного, всего три года назад отстроенного дома Илюшки Юргина Фрол остановился и задумался.

К действительности его вернул скрип колес. Юргин подвез к своему дому бричку зеленого, пахучего сена.

– Чего тебе тут? – спросил он сверху.

– Откуда это? – не отвечая на вопрос, кивнул Фрол на бричку. – Где сумел накосить?

– Сумеешь тут! – Юргин выругался. – Все лето, как каторжник, под дождями гнил.

– Каторжник? – усмехнулся Фрол. – Ты мне-то хоть не кричи об этом в ухо.

Юргин соскочил с воза, долго и молча глядел прямо в лицо Фролу.

– Вон что! – разжал наконец губы Юргин. – Сам допер?

– О чем? – спокойно спросил Фрол. – О том, что ты Илья-юродивый, об этом давно догадался.

– Вон что! – опять насмешливо и вместе с тем зловеще протянул Юргин.

Открыл ворота и, взяв лошадь под уздцы, завел бричку с сеном на двор. Фрол зашел следом, сел на какой-то ящик, валявшийся на земле.

Развязав бастрык, Юргин залез на воз и принялся сметывать сено.

– Про Клашку-то… с чьих слов наболтал Андрону? – спросил Фрол.

Юргин перестал сбрасывать сено, сказал:

– Коль ты догадливый такой, чего спрашиваешь?

– Не притворяйся, сволочь! Устин Морозов это тебе…

– Вот что я скажу, Фрол Петрович, – перебил его Илья. – Догадалась было телушка, зачем хозяин с ножом в сарай зашел. Да поздно уже было…

Фрол невольно поднялся с ящика.

– Вот так, – усмехнулся Илюшка и опять принялся за работу.

Пошатываясь, Фрол вышел из ограды юргинского дома, постоял в темноте средь улицы.

На небе не было видно ни луны, ни звезд. С заречья тянула стужа, напахивало холодным запахом снега, точно там уже легла зима.

– А-а! – махнул вдруг Фрол рукой и пошел к дому Клашки Никулиной.

Когда Фрол вошел в комнату, Клашка, одетая, лежала на неразобранной кровати и, положив руку под голову, смотрела в потолок. Огня в комнате не было, и Клашка спросила, не вставая:

– Кто там?

Фрол помолчал и сказал несмело:

– Я это.

Еще секунду-две полежала Клашка, стремительно соскочила на пол, босиком кинулась к выключателю. Электрический свет облил ее, вдавил в стену. Она прижала руки к груди, точно боялась, что сейчас выскочит сердце. Метнулась к окнам, задернула занавески, потом, растерявшись окончательно, сдвинула их в сторону, опять сложила руки на груди.

– Ты… ты не бойся! – проговорил Фрол. – Я ведь… так я.

Он снял шапку, сел возле двери на стул. Белые волосы его рассыпались в обе стороны. При электрическом свете они переливались и поблескивали, казались еще белее.

– Чего тебе?… Зачем ты?… Чего надо? – задыхаясь, выговорила Клашка. Крепко притиснутые к груди ее небольшие, шершавые от работы руки приподнимались и опускались.

– Не знаю я, – ответил Фрол, встал и одну за другой принялся задергивать оконные занавески. Клашка следила за ним с ужасом, но не останавливала. – Пришел вот… Ты зачем тогда, возле озерка, со мной? Так и я – не знаю…

Закрыв окна, Курганов сел к столу и застыл, не глядя на Клашку.

– Уходи… уходи, ради бога! – попросила Клашка. Голос ее дрожал и рвался. – Ты… ты ведь седой весь…

– А ты молодая разве? – с грустью спросил Фрол. И после долгого молчания усмехнулся: – Я, считай, с двадцати годов седой. Ты еще в люльке качалась, а я уже поседел.

– Люди-то… люди-то что скажут? – Голос ее рвался.

– Люди? – с тоской переспросил Фрол. Он поднял голову и поглядел на стенку, где в простенькой березовой рамке под стеклом висел портрет Федора Морозова. – Что люди? Все равно говорят уж…

Клашка, пошатываясь, побрела куда-то вдоль стены. Остановилась возле печки, оперлась о шесток.

– Нет, нет… не может быть! Не имеют права! Я Федю жду…

– Потому и говорят, что не имеют, – горько и как-то обреченно уронил Фрол.

Потом долго-долго молчали. Ослепительно, как солнце в пустом небе, горела посреди комнаты электрическая лампочка. Но света ее все равно хватало только на эту комнату, а там, за тонкими стеклами, за окнами, стояла густая тьма. Оба видели ее поверх занавесок, прикрывающих окна лишь до половины. Тьма прилипла к самым стеклам, давила и давила на них.

– Снег, наверное, завтра упадет, – сказал Фрол.

Клашка не понимала, о чем он говорит. Она, вся сжавшись, ждала, что сейчас посыплются со звоном выдавленные стекла, тьма хлынет в комнату, зальет все сплошной чернотой. Она была твердо уверена в этом, знала, что произойдет это через минуту. Вот осталось только полминуты, десять секунд, пять, две, одна…

Стекла выдержали, не посыпались. Но зато распахнулась дверь, все равно зазвенел в ушах звон, и все равно стало темно в глазах.

У порога, одетая в новую фуфайку, стояла жена Фрола Курганова, Степанида.

Клашка была без кровинки в лице. Но – странное дело! – звон в ушах вдруг утих, точно растаял, тьма рассеялась. Она стояла теперь окаменевшая и спокойная, смело глядела в злые и вместе с тем тревожные Степанидины глаза. Глядела и чувствовала, что где-то внутри разливается острый холодок, ползет вверх по всему телу.

– Чего надо? – спросил вдруг Фрол у жены, не вставая. И Клашка улыбнулась чуть-чуть, одобрила: именно, чего, мол, ей здесь надо?

– Мимо я шла, – сообщила Стешка. – Простите уж…

– Ну? – проговорил Фрол.

– Видела, как… занавески открывали да закрывали.

Фрол пожал плечами, будто удивляясь, и сказал:

– Ступай домой. Сейчас приду.

– Фрол! – закричала вдруг Степанида, подавшись вперед. – Ты что делаешь-то?! Опомнись!

Ее тяжелый полушалок скользнул по гладким, туго зачесанным назад волосам и упал на плечи. От электрического света волосы поблескивали, делали ее красивой и молодой.

– Ступай, сказал! – чуть повысил голос Фрол.

– И ты?! – укоризненно повернулась Степанида к Клашке, сделала к ней два шага. – И ты?… Что делаешь-то, а?

– За что ты меня коришь? – шепотом начала говорить Клашка. – Что я делаю?! Ты всю жизнь с мужиком прожила, а я не знаю даже, как мужская пропотевшая рубаха пахнет. Ты это понимаешь, а? Понимаешь или нет, я спрашиваю? – закричала уже Клашка, не помня себя. –

Занавески, говоришь, задернули? Ну задернули. Чтоб любопытные глаза не пялили. Дверь вот еще не успели закрыть да на стол собрать!

Клашка кричала, не трогаясь с места, а Степанида все пятилась и пятилась назад, пока не прижалась спиной к двери.

– Клавдия! – вскрикнула наконец Степанида. – Подумай, ради бога, чего говоришь!

Клашка и в самом деле не отдавала себе отчета. Ей казалось: у нее хотят отобрать то, о чем она всю жизнь мечтала, чего ждала и дождалась наконец и что должна защищать.

Но это было только мгновение, как после вспышки, когда на несколько секунд становится темно в глазах. А потом темень медленно рассеивается, выплывают из ее глубины знакомые очертания предметов, и все становится как прежде.

– Прости меня, Стешенька, прости! – всхлипнула вдруг, как девчонка, Клавдия, кинулась к жене Фрола, уткнулась ей в плечо и, обнимая Степаниду, сползла к ее ногам.

– Что ты, ей-богу, Клашенька… – растерянно проговорила Степанида. Голос ее перехватывало, по круглому, матово-бледному лицу прошла судорога. Обессилев, она присела у двери на тот же стул, где сидел недавно Фрол, положила к себе на колени Клашину голову и стала ее гладить. – Будет, Кланюшка, перестань! И тоже… тоже прости меня…

Обе женщины теперь плакали. Фрол крякнул, встал, потоптался. И осторожно вышел из дома.

С заречья все так же тянула стужа, все так же напахивало запахом снега, хотя воздух был недвижим. У Фрола замерзла голова, и он понял, что забыл у Клашки шапку. Поднял барашковый воротник суконной тужурки и медленно, словно боясь споткнуться в темноте, пошел к своему дому.

На половине пути его догнала Степанида. Она молча сунула ему шапку и пошла рядом. Фрол почти до самого дома нес шапку в руках, пока жена не сказала:

– Застудишь голову-то. Зима ведь…

Фрол очнулся и увидел, как неслышно и густо сыплются вокруг него тяжелые снежинки. В темноте они казались крупными шариками, похожими на град. Странно было только, почему они не барабанят о его голову, о мерзлую землю.

– Зима, дядя Фрол, а! – радостно закричал вдруг Мишка Большаков, сын Захара, вывернувшись откуда-то из переулка. – Видишь, как она незаметно! Утром люди проснутся – и ахнут: зима! Как у Пушкина.

…Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор… —

продекламировал Мишка и воскликнул: – Хорошо! – не то о Пушкине, не то об этом сегодняшнем вечере.

Плечи и шапка его были густо забелены снегом. Мокрое от растаявших снежинок лицо блестело в косой полосе электрического света, падавшего из чьего-то окна, занавешенного снаружи живой, вздрагивающей сеткой.

– Вот ведь, а! – также восторженно прибавил Мишка и вытер рукавом мокрое лицо. – Я хожу-хожу по улицам… А батя на ходке уехал…

– Куда? – спросил Фрол, но не остановился и не стал ждать ответа.

Возле дома Юргина Фрол замедлил шаг и посмотрел через ограду. На дворе не было уже ни брички, ни самого Ильи. Аккуратно сложенный приметок к большому стогу сена не был еще запорошен снегом, – очевидно, Юргин только что кончил работу.

«Точно рассчитали, дьяволы! – со злостью и горечью подумал Фрол. – Иди-свищи теперь следы…»

Фрол был почти уверен, что Купи-продай привез сегодня колхозное сено.

Степанида так и не проронила ни одного слова до самого дома. Фролу казалось, что она идет рядом и тихонько, беззвучно плачет.

Может быть, так оно и было, потому что, войдя в кухню, Степанида, не раздеваясь, не показывая лица, пробежала в горницу, оттуда в угловую комнату, служившую спальней, с грохотом закрыв за собой одну, потом другую дверь.

А в кухне, расставив широко ноги, сидел Устин Морозов. Полы его расстегнутого полушубка, как черные крылья большой и уставшей птицы, свисали вдоль ног до самого пола.

Стряхнув под порог с шапки налипший снег, Фрол разделся:

– Откуда Юргин сено привез?

Морозов пожал плечами, и крылья его пошевелились.

– Осенью председатель разрешил же всем по очереди для себя покосить. Где-нибудь опушку, может, выкосил. Ты сам-то где косил?

– Не видел что-то я его с литовкой осенью.

– Ты не видел, зато другие видели, – равнодушно проговорил Устин. И тем же голосом спросил: – Понял?

Фрол вздрогнул от этого «понял?», точно его хлестнули ременной плетью, и надолго замолчал.

– Так понял, что ли? – переспросил вдруг бригадир.

Фрол не ответил и на этот раз. Но его крупная сутулая спина как-то сжалась, обмякла, на лице, измятом и несвежем, отразилась щемящая внутренняя боль. Он тяжело опустился на табурет.

Бригадир усмехнулся удовлетворенно. Потом долго, не мигая смотрел на крутые плечи Курганова, на большие, резко выделявшиеся лопатки, на его седую растрепанную голову.

– Так она из-за Клашки, что ли? – снова спросил Морозов, кивнув на плотно закрытую дверь, за которой скрылась Степанида.

Спина Фрола качнулась и начала выпрямляться. Лопатки на его спине сошлись, и серая рубаха, туго обтягивавшая их, повисла складками.

– Слушай, ты… – быстро проговорил Фрол и тут же захлебнулся, сник. – Откуда ты знаешь про это… когда сам я не знаю? Э-э… – И Фрол безнадежно и покорно махнул рукой.

А посидев с полминуты, опять заговорил негромко и вяло, не глядя на Морозова:

– Сатана ты, Устин. Ну из-за Клашки, ну саданула в башку гнилая кровь…

И вдруг вскочил, опрокидывая табурет, жадно хватнул ртом воздух, словно внизу, где он только что сидел, нечем было дышать, закричал:

– Ну виноват я перед Стешкой… и перед тобой, перед твоим Федором! Разрежьте меня напополам, сволочи, выпустите кровь!

Фрол бросал слова, как булыжники, тяжело и быстро ходил из угла в угол. Он не заметил, когда вошел с улицы залепленный мокрыми ошметками снега Митька. А увидев сына, остановился и подумал, что Митька, наверное, давно уже слушает их разговор.

– Чудак! – спокойно сказал Устин. – Чего звонишь, как самоварная конфорка? Какая тут вина передо мной?

Фрол хотел сказать что-то сыну, но при последних словах Устина торопливо обернулся к бригадиру:

– А?

– Я говорю: был бы виноват, совратив девицу, а вдова – Божий дар.

– Чего? – еще более вытаращился на него Фрол.

– Фу-ты! – насмешливо и неторопливо воскликнул Устин. – Я вот все Митьке хотел намекнуть: «Хоть ты, парень, не зевай, пожалей бабу…»

– Ну-ка иди отсюда! – вспомнив наконец о Митьке, заревел Фрол в лицо сыну.

Митька, ни слова не сказав, ушел в соседнюю комнату, подняв по пути опрокинутую табуретку и поставив ее к стене.

– Н-да… Ну ладно! – Шумно вздохнув, Устин встал и застегнул полы-крылья своего полушубка. – Прощевай, Фрол Петрович.

– Постой, постой! – торопливо проговорил Фрол, сел на табуретку. – Значит, Божий дар?

– Ага.

– Она же родня твоя, Устин, – печально, точно это были его последние слова, проговорил Фрол.

– Родня? – негромко переспросил Устин. – Вся моя родня давно на кладбище переселилась.

Голос Устина был сухой и жесткий, как шелест ржавой, пересохшей травы. Фрол не понимал, что он говорит, не догадывался, чего он хочет. Всю жизнь Фрол понимал Устина с полуслова, с полунамека. Там, на лугу, под дождем, Устин только поглядел в лицо Фролу, кивнув на мокрого, измотавшегося председателя: «Перетянутый канат пружинит, да не рвется. А прикоснись чуть острой бритвой…» Устин даже не договорил. Но Фрол понял его и не только прикоснулся, а со всего маха резанул бритвой по канату. Резанул не из ненависти к Захару Большакову, не из-за усталости, а от захлестнувшей его слепой и отчаянной злобы и едкого раздражения на самого себя, на Устина Морозова, от тупого и жгучего сознания, что не может, не найдет в себе силы сделать вид, будто не понял намека бригадира, не найдет смелости не резануть… И еще оттого, может быть, что никто не понимает его состояния…

Но сегодня, сейчас Фрол Курганов не мог догадаться, чего хочет от него Устин. И поэтому спросил прямо, может быть, впервые за всю жизнь:

– Чего ты хочешь от меня?

– Ничего, – пожал плечами Устин. – Что ты, в самом-то деле?

Тогда Фрол ровным голосом высыпал один за другим еще несколько вопросов:

– Ты знал, что у меня с Клашкой… что случилось со мной… это вот?…

– Догадался, допустим.

– Зачем своему Илюшке и прочей шайке-лейке рассказал?

– Хотел тебе лишний раз доказать: ты еще только подумаешь о чем, а мне уже известно. Довольный теперь?

Фрол, точно враз сварился, молчал.

– А отсюда что следует? – безжалостно продолжал Устин, расстегнув полушубок. И черные крылья опять начали подрагивать, готовые вот-вот развернуться со свистом. Фролу казалось, что Морозов в самом деле превратится сейчас в страшную птицу, взмоет кверху и оттуда ринется на него. – А следует вот что, любезный… Вижу я – задумчивый шибко стал. Гляди, дорогой, жить-то недолго нам с тобой осталось. Давай уж в дружбе и доживать.

– Ага, – кивнул головой Фрол. – Слышал уже: чтоб хозяин с ножом в сарай не зашел. Догадается, мол, тогда телушка, да поздно будет… Предупреждали уже.

Устин поглядел на склоненную Фролову голову.

– Кто предупреждал?

Фрол не ответил.

Морозов пошел к дверям.

– Ну, будь здоров.

– Зачем хоть приходил-то? – не шевелясь, устало вымолвил Фрол.

– Да вот… Сказали мне, что Степанида к Клашке ворвалась. Думаю – как бы теперь Фрол не отступился…

– Я ни к чему и не подступался. И ничего мне не надо – ни Клашку, ни Степаниду.

– Вот-вот… Видишь, я и об этом догадывался. А я вот что хочу. – И Устин Морозов впервые в жизни ясно и отчетливо сказал Фролу, чего он хочет: – Со Степанидой – как знаешь, но с Клашкой чтоб продолжал… Не сробел чтоб. – Улыбнувшись, добавил отчетливо: – Божий дар не принять – грех, как моя старуха говорит.

– Да зачем, зачем это тебе, сволочь ты египетская?! – крикнул во весь голос Фрол.

Но Устина в комнате уже не было.

Фрол стоял не шевелясь, словно пытался что-то вспомнить. И вспомнил: не в первый, не в первый раз сказал Устин Морозов, чего он хочет. Давно, очень давно не говорил так прямо Устин, но не в первый…

Глава 7

Зло и угрожающе скрипел мерзлый снежный наст. Фролу Курганову казалось, что еще шаг, ну два – и тот, кто беспрерывно огрызается под его лыжами, остервенеет окончательно, вцепится в ногу, прохватит мясо до костей.

Фрол зашагал быстрее, будто в самом деле хотел убежать от опасности. Тяжелая двустволка больно заколотила по спине сквозь полушубок, а болтавшаяся на поясе, еще не успевшая окаменеть на морозе лиса-огневка стала путаться в ногах. К тому же шагов через пятьсот горячей пробкой все плотнее и плотнее стало закладывать горло. Но Фрол из какого-то самому себе непонятного упрямства не сбавлял хода. Он жадно ловил бесчувственными, не повинующимися на морозе губами стылый воздух, с хрипом и хлюпаньем втягивал в себя. Воздух тот был словно со стеклянным песочком, и растертая им глотка горела, саднила все сильнее и сильнее.

Остановился Фрол на самой вершине увала, по склону которого почти до самого низа угрюмо стоял закуржавевший редковатый кедрач. У подножия увала начиналась деревня.

Остановился, но и теперь еще не хватало воздуха. Широкая, когда-то могучая грудь работала сейчас вхолостую.

Да, не тот уже стал Фрол Курганов. И силы не те. А ведь когда-то ему ничего не стоило отмахать по тайге, по буреломам и сумрачным, жутким крепям полсотни верст за день, отчертомелить с темна до темна на покосе или жатве, а потом как ни в чем не бывало колобродить с парнями по деревне до самого рассвета, тискать по овинам да сеновалам пищавших девок. Льнули же к нему девки – значит, красив и удал был Фролка Курганов. И он любил их, тугих, как крутое тесто, пахнущих смешанным запахом полдневного солнца, холодноватой речной мяты и почему-то парного молока. Каждая надеялась удержать его навсегда, но не могла удержать больше недели, как бы крепко ни держала.

…Долго стоял Фрол Курганов среди редкого кедрача, навалившись на лыжные палки. Давно уже перестало жечь и першить в горле. А Фрол все стоял, все думал.

Что ж, когда человеку двадцать, он думает о будущем. А когда стукнуло шестьдесят, он вспоминает прошедшее.

Солнце еще не село, но день шел к вечеру. Неяркие зимние тени от редких деревьев расплывались на снегу.

Внизу, у самого подножия увала, чернели квадраты скотных дворов. Они были похожи на огромные кирпичи, в беспорядке высыпанные прямо в снег.

Первый из этих дворов, вон тот, где размещается сейчас телятник, был построен еще при Марье Вороновой. Он стоял тогда далеко от села. Потом отстроили второе, пятое, десятое помещение. Но даже спустя несколько лет после войны эти коровники, овчарники, конюшня стояли на отшибе. А сейчас дома колхозников прижались к самым дворам, обступили их полукругом. Меж домов виляли переулки, стекая, как ручьи, в три-четыре широкие улицы, тянувшиеся вдоль Светлихи.

Главной улицей считалась самая ближняя к речке. На ней и поставили минувшим летом новую контору на левой, нечетной стороне. А на четной, чуть поправее конторы, на месте прежней лачужки, стоит сейчас его, Фрола Курганова, дом, высокий, просторный, светлый, спускаясь огородом чуть не к самой воде. А усадеб через пять, почти напротив конторы, – дом Устина Морозова. За Морозовым, ближе к паромному перевозу, – ее, Клавдии Никулиной, изба…

Да, разрослась деревня. Вон ни того ни другого конца не видно в вечерней дымке. Разрослась, изменилась. Поглядела бы мать – ахнула удивленно.

Да, мать… Редко он вспоминает ее, а нехорошо. Он, Фрол, хотя и мал был годами, а помнит, как во время первой германской войны пришло известие о гибели отца. Мать, уже больная, износившаяся на непосильной работе у кулака Меньшикова, вскрикнула:

– Как же мы теперь, сыночек, без отца-то… без кормильца!..

Вскрикнула, упала и больше не поднялась. Она только прошептала еще, с трудом открыв неживые уже глаза:

– Фролушка… видит Бог… взяла бы я тебя с собой… да как? Ничего, ты уже большенький. Ты крупный у меня, крепкий. Иные и не подумают, что парнишка еще. Ты уж прости… и отца и меня… Уж ты сам покрепче на ногах стой. Поклонись Филиппу Меньшикову, – может, он поддержит тебя на первых порах. По совести-то – должен бы поддержать сироту, я ему наперед за то отработала…

Давно нету матери, шумят над ее могилкой лето за летом высокие березы, засыпает земляной холмик каждую осень желтый, легкий лист.

Нету в деревне теперь и полуразвалившихся домишек со стропилами-ребрами. А где церквушка с вечно дребезжащим колоколом? Вон в самом центре клуб на ее месте – каменный, двухэтажный, с четырьмя квадратными колоннами. Это пока самое высокое здание. И каждый, кто подъезжает из заречья, видит его издалека. На месте голоребрых домов в разных концах деревни – механическая мастерская, гараж, амбары, склады.

Все, все изменилось в Зеленом Доле. И продолжает меняться. Вон с краю деревни, недалеко от старого здания конторы, уже перестраиваемого под ясли, – холм. Вечно он торчал, как чья-то огромная лысая голова, мозолил всем глаза, портил вид. В деревне давно с местом стало тесно. Склоны холма облепили со всех сторон избы, взбираясь все выше и выше. Были желающие поселиться даже на самой макушке. Но Захар не разрешил. Почему – Фролу было непонятно. А оказывается, вот почему. Вон уже почти заканчивается кладка водонапорной башни. Насколько пришлось бы тянуть ее, заложи не на холме, а в другом месте? Что ж, хорошо, похозяйски рассудил Захар. Давно прикинул, для чего эта высокая лысина может пригодиться. Умеет вперед глядеть… Значит, и этот уголок деревни скоро изменится. Только вот он, Фрол, остается все таким же. Давно у него что-то застыло внутри, не то окаменело, не то оледенело…

Снизу, от скотных дворов, доносился голодный рев скотины. «Видно, еще не задавали корма на ночь, – подумал Фрол. И еще подумал: – Скоро вообще давать скотине будет нечего».

Вспомнилось Курганову проклятое прошлое лето. Вспомнилась и Клашка, которая сидела на мокрой копне, жгла его глазами. А потом – как сидела она в темноте рядом с ним возле маленького лугового озера. Вспомнилась – и вздохнул он, невесело подумав: а ведь чудно… Что до того была ему Клашка Никулина? Что куст в поле, что ветер в небе. А сейчас… Лезет в глаза – хоть вырви их! – бесстыжая вдова, да и только. И смешно, и больно, и… стыдно. Перед Митькой стыдно, перед Стешкой, перед людьми. А больше всего перед самим собой. Стыдно – и обидно почему-то. Может, потому, что его любили многие, а он – так, посмеивался только. Не отказывал им в любви, но и никогда не горел, теплился еле-еле. И вдруг сейчас, под старость, всплеснулся пламенем, как догорающее полено.

Это было непонятно самому Фролу, а главное – страшно. Не потому, что взметнулось, загудело пламя, а от смутной догадки, что, взметнувшись, огонь с отчаянной торопливостью пожрет остатки горючей своей пищи, дико пропляшет последнюю свою пляску – и беззвучно навсегда потухнет. И полено, тяжелое и пахучее когда-то, – словом, все, что называлось Фролом Кургановым, – превратится в кусок черного, мертвого, никому не нужного угля. Выбросят уголь в мусорную яму, размочит его дождь, превратит в кучу мелкой сыпучей золы. Солнце высушит эту кучку пыли, ветер развеет ее по белу свету – и все! Был и не был…

Еще раз вздохнул Фрол, переступил с ноги на ногу. И дважды провизжало, дважды огрызнулось внизу, под лыжами…

…Но пока пламя еще горит, пока непохоже, что оно скоро потухнет, начал снова думать Фрол. Начал, как ему показалось, откуда-то с середины. Оно все опалило внутри. И эта опаленная его внутренность представилась вдруг Фролу страшным темным зевом, и по ее стенкам ползают горячие искры, меж искр брызгают частые фонтанчики огня – точь-в-точь так, когда загорается сажа на сводах старой, давно не чищенной печки. Эти искры и фонтанчики больно жгли, распарывали Фролу грудь иглами, резали острыми холодными ножами. Но боль была приятной, и Фрол хотел, чтобы она никогда не кончилась, становилась все сильнее и сильнее. И может, поэтому он, несмотря на звеневшие в голове слова: «Со Степанидой – как знаешь, а с Клашкой чтоб продолжал…» – ничего не продолжал, не подходил к Клашке… Много раз Фрол видел перед собой прищуренные, блестевшие, как черное лезвие, Устиновы глаза. Но все равно не подходил к Клашке, потому что боялся: подойдет – взметнется последний огонь на том полене и потухнет.

И не подходил еще потому, что слышал, как тот же голос, может быть не такой хрипучий и изношенный, говорил ему: «С Наташкой – как хочешь, а Стешка-то, Стешка – погляди! Дотронься пальцем – однако, лопнет, до того сочная. Был бы холостой, не раздумывая женился… Хоть на денек бы. Понял?»

Слышал тот же голос Фрол и видел перед собой те же поблескивающие черные лезвия. Тогда они поблескивали острее, чем сейчас.

Не говорил разве только тогда этот голос, что чужая невеста – Божий дар. Вот и вся разница.

Когда это было? Давно, очень давно. Пожалуй, в тридцатом. Во всяком случае, еще не совсем пришла в угомон жизнь вокруг после коллективизации, они, зеленодольцы, еще только-только начали распахивать и засевать зареченские гари, и он, Фрол, кружил над раздобревшей, пышно разневестившейся в последнее лето Наташкой Меньшиковой, как коршун над цыпленком.

– Высматривает, сволочь, как бы вцепиться в девку без промаха, – сказал однажды Захар Большаков Стешке, возвращаясь вечером с лугов. – Ты бы предупредила Наташку.

Фрол и Устин Морозов лежали в траве возле дороги, оба слышали слова председателя.

– Не успеешь, однако, предупредить-то, – усмехнулся Фрол, встал и пошел к холодному ключу, где умывалась после работы Наташка.

Как сейчас помнит Фрол – обернулась Наташка торопливо на шум его шагов, задрожала на щеке прилипшая водяная хрусталинка. Она отступила к низкорослым кустикам с сизоватыми, точно покрытыми изморозью, длинными листьями, вся подалась назад, точно хотела упасть на них спиной.

– Что ты? – улыбнулся Фрол. – Не съем же. Зацелую если только до смерти… Да упадешь же! – И, протянув руки, взял ее за плечи и пригнул к себе.

Наташка скользнула вниз между его рук, отбежала в сторону, подхватила оставленные кем-то вилы. Побежала дальше. Но словно достигла невидимой какой-то черты – резко остановилась.

– Вот давно бы так! – усмехнулся самодовольно Фрол. Он был уверен, что теперь ноги ее намертво вросли в землю; не торопясь, вразвалку пошел к ней.

Однако Наташка попятилась, прошептала и испуганно и тревожно:

– Не подходи…

– Не дури, говорю, – еще раз ухмыльнулся Фрол. И побледнел.

Мимо его уха просвистели вилы-тройчатки, воткнулись, зазвенев, во влажную землю шагах в трех позади.

– Ах ты… кулацкое отродье! Мало вас подавили вокруг, уцелела, стерва… – проговорил сбоку голос Морозова. Устин вышел из-за кустов, выдернул вилы и подал Фролу. – Возьми… на память…

Наташка бежала где-то уже далеко. Над травами катилась одна ее голова. Голова подскакивала, как мячик, – Наташка прыгала, наверное, через кочки.

Фрол принял вилы, внимательно, с любопытством пощупал по очереди пальцами острие каждого рожка, сел на траву и задумался.

– Я говорю – на Стешку лучше погляди, – снова сказал Устин. – Стешка не будет вилами кидаться.

Запах зеленого неба и черных трав мутил голову. Светлая полоса на краю неба загибалась и спускалась куда-то за горизонт.

– Чего глядеть на нее? На ней Захарка-председатель собирается жениться, – ответил Фрол.

Стешка, девчонка шустрая, хитрая, с большими, чуть раскосыми глазами, была самой младшей из трех дочерей Михея Дорофеева, сторожа деревенской церкви. Во времена колчаковщины большие услуги оказывал партизанам этот тощенький, с виду пугливый, забитый мужичонка. Укрывал в церкви разведчиков Марьи Вороновой, прятал там же оружие, передавал связным разные сведения.

Дочери Михея, не в пример отцу рослые, разбитные, все с быстрыми шельмоватыми глазами, тоже жили при церкви. Старшая и средняя по очереди нанялись в свое время в экономки к зеленодольскому попу, отцу Марковею, человеку вроде бы мягкому, ласковому, с постоянной улыбкой на ярко-красных, как у девушки, губах. А спустя некоторое время так же по очереди вышли замуж: старшая – за дьякона из Озерков, средняя – даже за какого-то родственника отца Марковея, жившего где-то в центре России…

Михей Дорофеев все это воспринимал безучастно, только, когда говорили ему о дочерях, сплевывал молча и отходил прочь.

Перед самым боем за Зеленый Дол Михей Дорофеев впустил ночью в церковь двух партизан. Они быстренько собрали из заранее припрятанных частей пулемет, установили на колокольне. Да ветер ненароком сорвал с одного из партизан фуражку, швырнул вниз, прямо на проходящего по улице попа.

Через полчаса Михея Дорофеева, его жену и десятилетнюю Стешку выволокли из их домишка, швырнули к церковной стене, где лежали изуродованные, но еще живые партизаны.

Прежде чем раздались выстрелы, кто-то (сама Стешка не поняла кто, не то отец, не то один из партизан, – было темно) подмял ее под себя…

На рассвете колчаковцы из села были выбиты. Расстрелянных подняли. Стешка была без сознания, но дышала – пуля задела ей только правый бок. Захар Большаков поднял ее, осторожно отнес в пустой домишко, приставил сиделку…

А потом время от времени приходил справляться о здоровье девочки.

Месяца через три в деревню приехала средняя дочь покойного Михея, помолилась на могиле родителя и уехала, забрав с собой Стешку.

В двадцать восьмом году Стешка вернулась. Сразу ее и не узнали – она превратилась в рослую, как и ее сестры, шуструю, с большими, чуть раскосыми глазами девушку.

– Вон ты какая стала! – удивленно воскликнул Захар.

– Ну да, такая, – хитро повела Стешка глазами. – А что?

– Ничего. Что вернулась, это хорошо. Домишко ваш совсем прохудился – подправим. А чего от сестры-то уехала?

– Померла она…

– Вот как…

– Ага. А я помню – ты все приходил ко мне, когда я раненая после расстрела-то лежала. Пирожки все приносил с клубникой и черемухой.

– Верно, кажется, и с черемухой, – рассмеялся Захар.

Постояли, помолчали. Стешка, припустив глаза, спросила:

– Значит, ты председатель тут?

– Да вроде.

– Значит, не придешь теперь… не принесешь пирожка с черемухой?

И, не дожидаясь ответа, убежала, сверкнув белками огромных глаз.

Обо всем этом все знали в деревне. Знал и Фрол Курганов. И поэтому повторил:

– Нечего глядеть на нее. У них с Захаром любовь давняя…

– Ну… давняя ли, крепкая ли, я не знаю. И все ж таки замечаю, как деваха при виде тебя ноздрей подрагивает. И я на твоем бы месте… Подождал бы для любопытства, пока у них свадьба не разгорится. Да прямо от свадебного стола и увел бы невесту, как кобылицу из стойла…

Устин дал подумать немного Фролу и положил тяжелую, как каменная плита, руку на его плечо:

– Понял?

Фрол попробовал снять с плеча Устинову руку, но она словно прикипела.

– Понял, что ли? – еще раз спросил Морозов, встряхнув Фрола.

Курганов, ощущая на плече тяжесть, смотрел на светлую полосу, спускавшуюся за горизонт, и думал, что раз она туда спускается, значит земля в самом деле круглая и что за горизонтом сейчас, наверное, до того светло и чисто, что режет в глазах.

– Зачем тебе… чтоб я женился на Стешке? – тихо спросил Фрол.

– Чудак! – откликнулся Устин и убрал руку. – Да я о твоем счастье забочусь!

…Так началась в его, Фрола Курганова, жизни Стешка, Степанида, перед которой сейчас, после случая в доме Клашки Никулиной, Фролу стыдно и неловко. Она ничего не говорит, Стешка, только стала молчаливее. И Митька ходит какой-то замкнутый, задумчивый. Фрол замечал, что сын иногда посматривает на него любопытно и ожидающе, а сам точно прикидывает что-то в уме. Третьего дня Фрол не выдержал и, когда Степанида вышла во двор, крикнул Митьке:

– Чего примеряешься которую неделю? Звездани уж батьку сразу под дыхало, чтоб свет померк… – И, немного успокоившись, прибавил: – Может, мне тогда легче станет.

Митька, точивший какую-то деталь к трактору, бросил в ящик напильник, раскатал рукава.

– Зачем? – холодно улыбнулся он. – Примерки разные бывают.

Фрол так и не мог понять, что означают его слова. Подумал только, что все время живут они – он, сын и жена – вродь далеко-далеко друг от друга. По какому-то недоразумению они вынуждены собираться под одной крышей, по три раза в день садиться за один стол. Но каждый будто одет в ледяную корочку. Посидят, похлебают что-нибудь молча и так же молча разойдутся по своим комнатам. Разойдутся не спеша, точно боясь неосторожным движением разбить, разрушить свои ледяные скорлупки.

«…Так началась она, Стешка, – вернулся Фрол к прежним мыслям. – А что было дальше?»

После разговора с Устином у ключика Фрол, точно и знать никогда не знал Наташку, начал поглядывать на Стешку. Заметив это, она округляла удивленно глаза и оглядывалась растерянно, будто хотела у кого спросить: правда ли это? Фрол точно встряхивал белыми волосами, подмигивал и, закусив язык, принимался махать косой.

Не было еще человека в Зеленом Доле, который мог бы угнаться за Фролом в работе.

Когда начали в то лето метать скошенную рожь в скирды, Курганов брал с собой на всякий случай пару запасных вил. Разойдется, бывало, – не остановить его ничем, только с треском ломались, как сухие прутики, черемуховые, железной крепости черенки вил. И снова подмигивал Стешке, когда оказывалась она рядом. Стешка теперь вспыхивала, запиналась и боязливо глядела по сторонам – нет ли рядом Захара Большакова?

– Боишься? – спросил однажды Фрол у нее.

– Отойди, седой дьявол! – жалобно попросила Стешка.

– Ладно, я подожду, пока привыкнешь, – сжалился Фрол над ней.

К середине страды Стешка привыкла настолько, что во время работы сама искала вороватыми глазами Фрола. Но ничего не говорила, держалась поближе к людям. А домой каждый вечер уходила с Захаром, который неизменно заворачивал к концу дня на ток.

«Ага… – ухмыльнулся Фрол про себя. – А ну так попробуем». И несколько дней подряд бродил вокруг Стешкиного дома, как волк вокруг овчарни. Стешка не выходила, но она чуяла и знала, что он бродит, и однажды, когда молотили конями пшеницу, чтобы выдать хлеб на трудодни, шепнула:

– Дурак! Захар ведь… Он каждый вечер у меня сидит. Ни на шаг не отпускает.

– Вот что! – протянул Фрол. – Сегодня ночью я вот под этим ометом балаганчик устрою, а? А завтра вечером…

– Что ты, что ты! – встрепенулась Стешка и поспешно отошла.

Ночью Фрол действительно пришел на ток, вырыл в куче вымолоченной соломы глубокую нишу, замаскировал вход. Посидел возле омета на мягкой холодноватой земле, выкурил самокрутку, поглядывая на мерцающие за речкой деревенские огоньки, и, заплевав тщательно окурок, пошел на берег, к лодке.

На следующий день, перед вечером, сказал Стешке:

– Видишь, где куст полыни висит на омете? Там балагашек…

– Фролка… н-не могу, – попятилась, сильно замотала головой Стешка.

– Тогда как хошь. Дважды просить не буду, – равнодушно пожал он плечами.

До самой темноты Стешка была рассеянной и неловкой какой-то, вздрагивала при каждом щелчке бича. А под конец, закидывая на круг пласт колосьев, выброшенный копытами, повредила передние ноги коня. Разгоряченная лошадь с ходу припала на грудь, ее тотчас стоптали задние, путаясь в постромках, раскатились по сторонам. Взметнулись человеческие крики, лошадиное ржание и дикий храп, поднялась тучей пыль.

– Раззява косорукая! – замахнулся на Стешку кнутом Филимон Колесников. – Угробила коня, однако, с-стерва…

Филимон, может быть, и опоясал бы Стешку, но кнут схватил подъехавший председатель колхоза.

– Погоди, Филимон, – попросил он. – В чем дело?

Стали освобождать лошадей от постромок, разводить в стороны. Сбившись кучей вокруг пораненного коня, осматривали его ногу.

Стешка, прислонившись спиной к скирде, дико поводя глазами не то от испуга, не то еще от чего, незаметно для себя переступала ногами, двигалась к краю омета.

Как только Стешка скользнула за угол скирды, наблюдавший за ней краем глаза Фрол усмехнулся. Растолкав людей, он посмотрел, как голый по пояс Филимон Колесников перематывал лошадиную ногу своей располосованной рубахой. Захар сидел на корточках возле лошадиной морды и поглаживал ее ласково по плоской щеке.

Выпрямившись, Фрол задумчиво обошел круг, на котором молотили пшеницу, еще раз поглядел на сбившихся вокруг коня людей, еще раз усмехнулся и не спеша, будто шел по своей надобности, скрылся за ометом.

Когда залез в темную, пахнущую сухой пылью дыру в соломе и стал заваливать лаз, услышал, как тяжело дышит позади него кто-то и Стешкин голос проговорил глухо, сквозь рыдания:

– Сволочь ты, Фролка… Дракон ты проклятый…

– Тихо! – прошептал Курганов. – Добровольно ведь залезла.

Стешка примолкла. Фрол не видел ее, но слышал, как затихало ее дыхание.

По шуму голосов, глухо доносящихся с противоположной стороны соломенной скирды, по топоту лошадиных ног, по лязгу составляемых к стенке омета вил Фрол и Стешка догадались, что люди уезжают наконец домой. Оба затаились не дыша. Оба ждали, когда простучит ходок, на котором приехал Захар Большаков. А он не стучал.

Вдруг прямо возле заваленного соломой лаза прошуршали шаги. Шаги удалились, потом вернулись. Кто-то искал кого-то. Стешка и Фрол знали – кто, и знали – кого. И все-таки, когда рядом, почти над ухом, прозвучал тревожный и призывный голос Захара: «Стеша!» – Стешка дернулась. Фролу показалось, что она вскрикнет, он быстро протянул в темноте руку, чтобы предупредить этот крик, торопливо нащупал ее плечо. Стешка жадно схватила его жесткую ладонь и закрыла ею свои горячие губы – может быть, в самом деле боялась, что не выдержит.

Захар еще походил вокруг омета, еще несколько раз позвал Стешку. Наконец колеса его ходка застучали, удаляясь. Стешка опустила Фролову ладонь и облегченно вздохнула.

– Да любит же тебя, – негромко проговорил Фрол.

– Ага, – грустновато откликнулась она. – Уж так любит… Останемся одни – он вроде и дохнуть на меня боится. Только все смотрит, смотрит…

– А ты его?

– Я? Что – я? Председатель ведь. Не каждой так-то в жизни пофартит… Тут уж люби не люби… – И Стешка вдруг рассмеялась радостно и сыто, потянулась хищно. – Я его, теленка, без веревки за собой вожу. Вот кабы тебя так…

Фрол целую минуту молчал.

– Ах ты, сука ласковая! – выдавил он наконец сквозь зубы и повернулся к ней, взял обеими руками за плечи и приподнял. – Коня-то нарочно ты сегодня, а? Тебя спрашивают!

– Что ты, ей-богу? Какого коня? Ой, не трогай меня, Фролушка, не трогай! Может, я за него еще выйду, за Захарку, – со свистом зашептала вдруг Стешка ему в ухо.

Фрол замер на мгновение, как бы соображая, о чем это она просит.

– Ах ты, сука ехидная! – снова усмехнулся он, оскалил в темноте зубы.

И, не отпуская ее плеч, навалился на Стешку всем телом, точно хотел раздавить, мял ее безжалостно под себя, как подушку, стараясь причинить боль, вырвать из ее тугих, как резина, губ хотя бы один вскрик. Но она, большая и сильная, молча билась под ним, мотая головой из стороны в сторону. И Фролу хотелось ударить кулаком по этой голове, чтоб она перестала мотаться…

…Потом Фрол опять сидел, как прежде, спиной к Стешке. Глаза щипало, горько пахло почему-то полынью. Стешка так и не вскрикнула ни разу, не заплакала, как ожидал Фрол.

И вдруг она всхлипнула, повторила глухо, сквозь сдерживаемые рыдания, как полчаса назад:

– Дракон ты проклятый…

Фрол задыхался от духоты и пыльной горечи, вытолкнул ногой соломенный пласт, закрывавший лаз. Холодный ночной воздух пахнул в лицо, обжег легкие. Как и вчера, на той стороне речки мигали деревенские огоньки.

Прямо в дыру, где они сидели, смотрела равнодушно круглая луна. Слабый, неясный свет высвечивал только отдельные соломинки и толстые Стешкины ноги. Фрол покосился и в полусумраке разглядел ее всю. Она валялась за его спиной, измятая и жалкая, и по-прежнему всхлипывала. Но Фрол ей не верил.

Потом Стешка перестала плакать, приподнялась и сказала полным голосом:

– Все тело трухой облипло…

Курганов не обернулся, не пошевелился.

– Фролушка! – простонала Стешка и положила ему на плечо горячие, потные руки и растрепанную голову. – Что же теперь-то, а? Не бросай ты меня…

Брезгливо поморщившись, Фрол двинул плечом, стряхнул с себя Стешку.

– Липкие же у тебя руки. Не хнычь, сказал!

– Все вы кобели. Сперва… а потом… Возьми меня, Фрол, за себя, ради бога.

– Я же не председатель, – усмехнулся Фрол. – И никогда им не быть мне…

– Будешь, ей-богу, будешь, Фролушка, – торопливо зашептала она, опять вскидывая руки ему на плечи. – Ты работящий, все видят. Вона как вилами-то махаешь! Даже Захар хвалил. Этой силе да ума бы, говорит… А вдвоем-то мы с тобой… эх… Ум-то что – рассудок только. Пущай и не хватает, да главное – люди чтоб не знали. А обмануть их легче легкого, потому что сами дураки. Так мне сестра все время говорила. Где надо – поддакнуть, где надо – промолчать. И главное – на собраниях выступать об чем-нибудь. Уж я бы тебе подсказывала, что и когда…

Теперь Курганов не стряхнул, а отшвырнул Стешку от себя с такой силой, что, ударься она не в соломенную, а в деревянную стенку, убилась бы насмерть, и вылез на свежий воздух.

Стешка выползла следом, обхватила его пыльные ноги, заголосила, по-волчьи подвывая:

– Ну, ударь еще раз… Переломи с хрустом, как палку, разотри в кровь сапогом. Мне нисколько не больно, бабы любят мужскую силу, любят, чтоб кости у них хрустели. Ну бей, чтоб искры из глаз, чтоб зверем кричать…

– Ты человек ли? – удивленно и тихо спросил Курганов.

– Я буду, как ласковая собачонка, в глаза тебе заглядывать… Как Захарка в мои сейчас, так я в твои глядеть буду… И заживем! Фролушка! Я ведь не с пустым карманом. Передала мне сестрица-то кое-что перед смертью вместе с наказом, как жить. Умница была…

Фрол выдернул, как из трясины, ноги из Стешкиных рук и пошел к деревне, оставив ее лежать на колючей стерне.

Две недели затем он работал молча, ни разу не взглянул на Стешку, хотя чуял, что она будто привязалась к нему своими раскосыми, хищноватыми глазами. Куда ни пойдет – тянется за ним какая-то невидимая нить, и не оборвать ее, не сбросить с себя. Раньше Стешка, а теперь сам Фрол старался быть поближе к людям, а вечером вместе со всеми уходил в деревню. Стешка плелась позади с бабами. Председатель перестал отчего-то заезжать на ток вечерами. Он приезжал иногда днем, хмурый и обросший, но долго на току не задерживался.

Однажды, в начале третьей недели, Захар все-таки задержался, а вечером поехал в деревню, как это бывало раньше, вместе со Стешкой.

– Вот что, Фрол, ты не порти мне спектакля, – жестко сказал в тот же день Морозов. – Чтоб все по нотам было, как договаривались. Понял?

– Не могу я! – скрежетнул даже зубами Фрол. – Не могу…

Устин запрокинул голову и захохотал. Потом резко оборвал смех, прищурил черно-угольные, отливающие холодным блеском глаза.

– Ты ляг сегодня пораньше спать. Укройся с головой, в темноте подумай… припомни, что можешь. А что забыл, я подскажу.

На другой день Фрол, выбрав время, шепнул Стешке, глядя в сторону:

– Как стемнеет, жду тебя в тайге, возле обгорелого кедра.

…Так она, Стешка, продолжалась в его жизни. А что было еще дальше?

Были ворованные поцелуи, жадные, ненасытные Стешкины ласки по ночам, которые вызывали у Курганова тошноту и отвращение, высасывали из него все силы. И довольные смешки Устина Морозова, его одобрительные возгласы: «Так… Молодец, Фрол… Скоро будет последнее действие… На Масленицу Захар свадьбу готовит. И ты готовься…»

– И ты готовься, – повторял Фрол Стешке Устиновы слова. Голос его был усталый и безразличный. – Отведете свадьбу, а перед тем, как лечь спать, выйдешь на улицу. За плетнем будет кошева стоять…

– Выйду, родимый. Что хошь сделаю. Пешком за тобой побегу хоть на край света, – покорно шептала Стешка.

А зимой, уже перед самой свадьбой, – остатки совести, что ли, пошевелились в ней, – она попросила робко Курганова:

– Может, не надо бы, Фролушка, а?… Свадьбу-то с Захаркой… Давай я сегодня к тебе перейду. Начисто убьет это Большакова. А коль со свадьбой еще комедь устроить…

– Жалко, что ли, его?

– Не то чтобы жалко… Неловко все же. – И, опустив взгляд раскосых своих глаз, добавила: – А по правде если – жалко. Не его, может, а просто так. Сердце томит отчего-то…

Стешка помедлила, поводила глазами и снова опустила их вниз.

– Летом он для меня цветки собирал. Когда едем вечером домой на ходке, вытащит их, привялые, запыленные, из-под ног откуда-то, сунет неловко в колени мне, а сам покраснеет… А когда в скирде мы… догадался он, в общем, как-то. За одну ночь похудел. Глаза только одни и не похудели. Потом простил…

– Может, и сейчас догадывается?

– Не знаю. Только еще преданнее в глаза смотрит. Как больному ребенку. И весь какой-то… виноватый весь. Будто не я перед ним, а он передо мной провинился. Когда сказала: «Давай свадьбу через месяц» – повеселел.

– Можешь не выходить под конец свадьбы ко мне, если хочешь. Чтобы он не погрустнел потом, – проговорил Фрол суховато, вроде попросил о чем-то неуверенно.

Но Стешке показалось, что он сказал это с издевкой.

– Ты не смейся, Фрол. Я к тому, что душа у него, у Захарки, человеческая.

– И я к тому… – еще тише проговорил Фрол, оглянулся по сторонам и странно втянул голову в плечи. – Легко ли наплевать в такую…

Стешка недоуменно подняла голову в толстом полушалке, испуганно глянула на него узковатыми глазами, ткнулась в кислую шерсть Фролова полушубка.

– Нет! Фролушка, ты верь мне. Я ведь это так… вспомнила. Да ради тебя, ради… Я им всем наплюю! Всем!.. Фролушка, родимый…

Курганов, грубо оттолкнув ее от себя, брезгливо растер рукавом мокрую от ее слез шерсть на отворотах полушубка.

– Я и не сомневался. Вот тут, за этим самым плетнем, будут сани стоять, – хрипуче и тяжело сказал он, отвернулся от Стешки и пошел, горбатясь, в темноту.

…Свадьба Захара Большакова со Стешкой была в морозный, искристый день. С утра гудело и волновалось все село – шутка ли, председатель женится! Кучами ходили люди из конца в конец деревни, толкались перед домом Захара, сорили подсолнечной лузгой, окурками на чистый, только что нападавший сверху снег.

И весь день ждали чего-то необычного, невиданного в этих краях. Приближение этого необычного чувствовалось во всем – в испуганно-подленьком блеске Стешкиных глаз, в счастливо-обеспокоенном выражении худого Захарова лица, в молчаливых и зловещих усмешечках Илюшки Юргина, точно он хотел сказать: погодите, мол, вы не знаете, что сейчас произойдет, а мне-то известно…

Но свадьба началась своим чередом, после первых рюмок исчезла скованность и неловкость гостей. Кричали, как обычно, «горько», Захар целовал Стешку в холодные губы. Устин Морозов, подвыпивший и разлохмативший, обнимал Захара, говорил, смахивая со щек самые настоящие слезы:

– Захар Захарыч, дорогой ты наш председатель… Видим, видим, как вы любите друг друга… И мы радуемся твоему счастью. Мир да совет вам до гроба… Гляди, Стешка, береги его, заботься. Самое дорогое, что у нас есть, отдаем тебе. Сынов чтоб нарожала ему…

Захар, тогда молодой, еще безусый, разволновался, приподнялся со стула. Кто-то снова крикнул в это время: «Горько!» Стешка обхватила Захара обеими руками, прижалась к нему крепкой, как камень, грудью, внутри которой часто и глухо колотилось что-то живое. Тогда

Захар расчувствовался окончательно, усталые и счастливые глаза его подернулись живой влагой.

– Друзья дорогие мои! Товарищи дорогие… – начал он.

В это время Фрол Курганов почувствовал на себе две пары глаз – Устина Морозова и Стешки. Встал из-за стола и, покачиваясь – то ли от выпитой водки, то ли еще от чего, не спеша вышел на улицу.

…Ночь была тоже морозной и искристой. Сотни человеческих ног гладко притоптали за день снег вокруг дома Захара Большакова. Скрипа полозьев, когда Фрол и Илюшка Юргин подъезжали к плетню, не было слышно.

Гости уже начали расходиться от председателя. В освещенных окнах маячило еще несколько теней, болталась, прыгала по мерзлым стеклам огромная кудлатая голова Устина Морозова.

Стешка перелезла через плетень молча и торопливо. Если бы не затрещали под ее ногой мерзлые прутья, можно было подумать, что это тоже скользнула какая-то неясная, зловещая тень. Полураздетая, придерживая одной рукой полы незастегнутой жакетки, другой – концы полушалка, она тяжелым мешком бухнулась в сани, простонала Фролу в колени:

– Ой, скорее…

Купи-продай, сидевший за кучера, изо всей силы вытянул кнутом горячего жеребца. В две минуты он домчал их до Фроловой избы. Стешка спрыгнула с саней, все так же придерживая руками жакетку и полушалок, прибежала к двери, ударилась о нее плечом.

Сам Фрол вылезал из саней не спеша. Он сперва проводил взглядом Стешку и потом уже ступил на снег.

– Да скорей ты, и так чуть не опоздали! – нетерпеливо крикнул Юргин Фролу, заворачивая жеребца. – Невесту уволокли, слава богу. Сейчас гостенечков, какие еще на ногах, попробую перевезти. Как говорится, со свадьбы на похмелье…

– Не надо, а? – слабо запротестовал Фрол.

– Ну, ха-ха-ха! – засмеялся радостно Илюшка. – Кусок мяса-то из когтей вырвали, теперь глянуть, как лапы обсасывает… бывший жених! – И снова хлестнул – смачно, с оттягом – танцевавшего жеребца.

Фрол нехотя пошел в избу. Когда открыл дверь в горницу, увидел, что Стешка сидит уже за длинным, уставленным закусками столом, чокается граненым стаканом с Антипкой Никулиным и Андроном Овчинниковым.

– Мир да любовь… Вот теперь мир да любовь! – кричал Антип, изрядно хлебнувший еще у Захара.

– Я сомневаюсь, – качал головой Андрон, тоже хмельной и красный как помидор. – Баба – это что? Это, брат, ежели по-пролетарски назвать, домашний подкулачник. Одним словом – женщина. И у нее любовь – что такое? Один ветер в голове. Куда дунет, туда клонит…

– Не скажи, не скажи, – сопел Антип. – Стеха-потеха, ах… трансляция! – И вдруг Антип, зажав в руке стакан, грохнул им об стол, расплескал водку и заплакал. – Стерва ты, Стеха! И Фрол стервяк. И вот Андрон. Один я вот человек, да и то… не шибко положительный.

Гости к Фролу так и не приехали. Через некоторое время ввалился Купи-продай с расквашенным лицом. Скинув полушубок в угол, он сел за стол, размазал по щеке кровь рукавом, молча опрокинул в стакан бутылку.

Фрол только усмехнулся.

– А что? – сказал Антип. – Ране, бывало, где свадьбу начинали, там и кончали. Гости расходились, а жених да невеста спать ложились. А ныноче иначе.

И вдруг поднялся, швырнул стакан с водкой в Стешку:

– Потаскуха мокрогубая! Вы кого обидели? Вы моего партизанского командира обидели…

Юргин хотел осадить пьяного Антипа, но тот вцепился ему в глотку. Задыхаясь, Илюшка торопливо шарил рукой по столу, опрокидывая стаканы и тарелки. Нащупал толстую, зеленого стекла бутылку. Фрол хотел задержать руку Юргина, но не успел – Илюшка размахнулся и звезданул Никулина по черепу. Антип осел, повалился под стол.

В это время зазвенели стылые оконные стекла, посыпались, как льдины, на пол. Тяжелое полено, просвистев возле Фролова уха, врезалось в стену. Андрон Овчинников с перепугу приклеился к стене и мотал руками, как бабочка крыльями, пробовал оттолкнуться от стены и не мог.

Фрол Курганов еще раз усмехнулся. Спокойно посмотрел на разбитое окно, встал, потушил висевшую над столом лампу. Взял с кровати подушку и заткнул окно. Потом проговорил так же спокойно:

– Вот и все.

– Филимон это Колесников, – сообщил Юргин.

– Знаю, что не Захар! А только если бы он со мной так, я бы не поленом в окно. Я бы дом его поджег. Припер ломиком двери, облил керосином – и поджег.

Повернулся и ушел в боковушку, прямо в сапогах завалился на кровать. Через минуту туда же зашла Стешка, остановилась у стены, не зная, что делать. Наконец прошептала:

– Фролушка… Все равно теперь уж… нету обратно дороги… ни мне, ни тебе.

Фрол еще помолчал и сунул ей в лицо пахнущий дегтем сапог:

– Стаскивай! Р-разувай мужа, говорю!

Стешка, не говоря ни слова, прижала сапог к груди, откинувшись назад всем телом, потащила его с ноги.

Так кончилась его «свадьба» со Стешкой…

…Стоя на вершине увала без движения, Фрол Курганов почувствовал, что замерз. Однако не тронулся с места, не пошевелился, даже не переступил с ноги на ногу. Он стоял, уперев в грудь обе лыжные палки, и смотрел вниз. А внизу, покачиваясь, полз на деревню с речки Светлихи вечерний туман. Крайние дома уже тонули в нем, как прошлым летом стога в сеногнойной мороси.

«Так кончилась „свадьба“ и началась семейная жизнь со Стешкой, – вернулся Фрол к своим мыслям. – Как она началась?»

Все следующее утро до обеда просидели в избе молча. В обед вылез из-за стола с проломленной головой Антип, стоя на коленях, посмотрел на разбитое окно, на валявшееся в углу полено, пощупал свой череп и спросил:

– Кто это меня, а?

Фрол выпил стакан водки, поманил Антипа:

– Ну-ка встань.

Когда Антип встал, Курганов взял его за шиворот и, не говоря ни слова больше, вытолкнул из избы.

До вечера опять молчали. Стешка несмело принялась убирать со стола.

Ночью Фрол застеклил окно и сказал, как вчера:

– Я бы не только окно вышиб – дом поджег.

И снова молчали несколько дней.

Когда, почти через неделю, вышел на улицу, деревня стояла тихой и белой. Люди на улицах появлялись редко, ходили бесшумно. Фролу никто ничего не сказал, никто с ним не поздоровался, никто его не заметил, словно он был невидимкой. И на второй, и на третий день, и через неделю никто его не замечал. «Вон что…» – догадался он.

– Общественное презрение. Передовая форма наказания, – усмехнулся однажды Устин Морозов.

– А ты не смейся, гад! – крикнул Фрол.

Морозов дернул ноздрями, но проговорил ровно, чуть суше:

– Понимать надо, над чем я смеюсь… А ругаться друзьям – последнее дело. И наплевать на всех. Тебя и до этого не особенно любили.

Не особенно, верно. И Фрол знал за что – за замкнутость, за угрюмость.

– Захар приказал всем – ни тебя, ни Стешку чтоб не трогали. На остальное плюнь, говорю.

– Он знает, что страшнее смерти…

– Да что ты, в самом деле, как баба?! У тебя друзья есть… не бросим.

– Вот что… друг, – повернулся к нему Фрол всем телом, – желаю тебе когда-нибудь попасть… в тюрьму без решеток.

С этого дня Фрол Курганов еще больше ушел в себя.

Из рассказов Юргина Фрол знал, что случилось на квартире у Захара, после того как он увел Стешку. Собственно, там ничего не случилось, если не считать, что самому Юргину Филимон Колесников раздробил переносицу. Едва Купи-продай с кнутом зашел в комнату. Филимон, словно ждал его, поднялся, схватил за грудки и рванул от дверей на середину избы.

– Что это за фокус ишшо! – еле удержался на ногах Илья. – Я… хе-хе… с добрым словом, с приглашением.

– Ну? – бледнея, спросил Захар и поднялся со скамейки. Его всего трясло.

Юргин не торопясь оглядел оставшихся в темноте гостей, сказал, поклонившись:

– Приглашаем теперича на свадьбу… на настоящую свадьбу… по поводу законного бракосочетания девицы… то есть… хе-хе, бывшей девицы Стешки с Фролом Петровичем Кургановым…

Разогнуться сам Илюшка не успел – ему помог Филимон. Помог и, не отпуская, тяжело, как железной болванкой, ткнул ему дважды в лицо. Юргин не почувствовал еще боли, а Филимон замахнулся в третий раз. Но между ними встал Захар.

– Убью паразитов! – хрипел Колесников. – Дом Фролки по щепке разнесу!

Захар оттолкнул Филимона, пошатываясь, добрел до скамейки, почти упал на нее. И только тогда сказал шепотом:

– Не надо. Я знал… чувствовал…

– Нет, что это вы, Илья, делаете, а? – удивленно крутя шеей, спросил Устин Морозов. И повернулся к людям: – Что это они, а?

– А-а-а! – снова ринулся Филимон к Юргину.

Илья, пятясь, выскочил в сени.

– Р-разнесу! По щепке! – ревел Филимон сзади, гулко топая по мерзлому снегу. Он, может, настиг бы Юргина, но его догнали выскочившие из избы люди, повисли на нем. – Пустите, говорю! Пустите, дьяволы! – вырывался Филимон.

Купи-продай сдернул вожжи с плетня, огрел жеребца и на ходу, боком, упал в сани…

С Захаром Большаковым Фрол встречаться долгое время избегал, почти до весны ходил без работы.

– Жизня… Гуляй себе! Хоть тросточку заведи, – усмехнулся Морозов.

Залечивший нос Илья Юргин хохотал:

– На племя, должно, выделил тебя Захарка! Ишь, в работу не впрягает, как жеребца-производителя!

– Шутки вам! – угрюмо ронял Курганов. – А мне жрать скоро нечего будет.

– Пососи на ночь Стешкину губу – да спать, – посоветовал однажды Юргин.

Фрол опешил даже, быстро вынул затяжелевшие руки из карманов:

– Ах ты, слизь зеленая!..

– А что? Раз ты не требуешь работы у председателя… – поддержал вдруг Юргина Устин Морозов. – Он тебя не только в тюрьму посадил… без решеток этих, но еще и голодом морит. Тюремникам-то хоть баланды наливают…

Фрол, и без того бывший на взводе, сорвался и побежал в конторку к председателю.

Захар встретил его спокойно, только выпрямился за столом да покатал желваком на худой скуле. Выслушав несвязные выкрики Фрола, сказал:

– Скотники нам требуются.

– Скотники?! – воскликнул Фрол. Ему вдруг показалось, что неспроста Большаков предлагает ему эту работу. – В отместку, значит? Быкам хвосты крутить?

– Не хочешь быкам – крути лошадям. Конюхи тоже нужны. Вся работа в колхозе такая…

– Л-ладно! – зловеще произнес Фрол. – Посмотрим еще, кто кому больнее мстить будет…

– Мне больнее уже не сделаешь…

– Это посмотрим. Во всяком случае постараемся, – пообещал Фрол на прощание.

На другой день с утра пошел на конюшню.

Со Стешкой по-прежнему жил как чужой. Завтракал, глядя в чашку, уходил молча на работу. Редко-редко скажет разве слово-другое за ужином. Сапоги снимать ее не заставлял больше, разувался сам, но спать с ней ложился как с бревном.

– Фролушка… Долго ли… – начала было она как-то зимой.

Но он бросил ей коротко:

– Не вой.

– Думала ли я о такой жизни, когда от Захара…

– О чем думала, того и добилась.

Это был у них первый, самый продолжительный после свадьбы разговор.

Конец зимы и весну прожили по-старому. Стешка иногда начинала прежнюю песню, что не на такую жизнь надеялась, что в доме ничего нет. Но Фрол или отвечал прежним «не вой», или ничего не отвечал.

Летом Стешка развела полный двор цыплят и гусей. Фрол, проходя по двору, со злостью пинал неповоротливых, распаренных квохтушек и шипящих, как змеи, гусынь. Но когда Стешка принесла откуда-то поздней осенью четырех розовых поросят, он спросил:

– А это зачем?

– К весне выкормлю, лето погуляют, а к следующей зиме деньжат огребем…

Фрол ничего не сказал. Но, выбрав время, когда Стешки не было дома, перерезал всех поросят, а заодно всех кур во главе с петухом, всех гусей, оставленных на расплод. Поросячий визг и ошалелые куриные крики стояли над всей деревней. Когда прибежала побледневшая Стешка, он объяснил ей коротко:

– Чтоб не слыхал я больше хрюканья да кудахтанья. Развела тут вонищи!

Стешка как стояла, так и села на заснеженное крылечко, опустив чуть не до земли руки, словно и их надрезал Фрол.

Месяца два после этого ходила как прибитая. Он молчком – и она молчком. Наконец разжала свои резиновые губы:

– Ну что же… Так-то вроде и лучше. Не как иные-некоторые. Охозяйствовались, словно прежние кулаки. А ты – бедняк-пролетар.

Удивленно глянул Фрол на жену, хотел вроде спросить, что, мол, сие значит – «бедняк-пролетар», да махнул рукой. А назавтра и вовсе забыл об этом разговоре.

Перед Новым годом объявили, что скоро будет отчетно-выборное колхозное собрание. На собрания Фрол ходил, слушал, о чем спорят, но сам в споры никогда не вступал.

– Нынче осенью-то перестояла полоса пшеницы за глинистым буераком, – сказала вдруг Стешка утром того дня, на которое назначено было собрание.

Фрол громко и сердито фыркнул у рукомойника, выгнув горбом широкую спину.

– Намолотили с той полосы, говорят, всего шестьсот пудов. А ежели на недельку бы раньше, всю тыщу взяли бы, – продолжала Стешка, подавая ему завтрак.

– Тебе-то откуда знать? Счетовод выискался!

– Так ураган повыбил пшеницу. Сам Захар говорил – тыщу пудов худо-бедно уродило. И коли бы не проворонили недельку-то, до бури управились бы… Лишних четыреста пудов колхознику плечи не оттянули бы, сусеки бы тоже не развалились, выдержали.

– И так с голодухи не пухнешь пока! – обрезал Фрол жену.

Собрание должно было начаться после обеда, Фрол пришел с работы пораньше, сказав с порога:

– Собирайся.

– Сейчас, сейчас! Надень вот эту тужурку.

– Дура! Давай новый полушубок. Пимы новые достань. Шарф покупной…

Стешка нехотя полезла за вещами.

– Конюшня-то твоя тоже… смех, а не конюшня колхозная. Решето решетом. На днях заглядывала – снег сквозь стены пробивается. И хоть бы лесу не было в колхозе! Что зимой мужикам делать! Навалили бы ельника, а по весне перебрали весь конный двор. А?

– Переберем. Все видят, что к лету завалится она. Ее и строили на время.

– Не в том дело, что видят. А раз видят, и говорить легче – сразу поймут. Вот ты бы и поговорил на собрании.

– Чего мне! Другие поговорят, коли надо.

– А ты не жди других, ты сам наперед. И про конюшню, и про хлебную полосу за буераком. И нынче хватит… – Стешка подошла к мужу с полушубком, но не протянула его Фролу, а прижала к своей груди. – Слышь, нынче и хватит. А при следующем собрании я тебя еще надоумлю, про что говорить. И все увидят – заботишься о колхозном-то. И Захар увидит…

Фрол, закручивавший портянку, глянул снизу вверх на Стешку.

– Что, что? – сунул ноги в валенки, тяжело разогнулся. – Ну-ка, ну-ка, об чем ты?…

– Ей-богу, Фролушка, клюнет. И об личном подсобном хозяйстве ты не печешься, без корысти живешь, не как иные-прочие. Курей и тех порубил.

– Вон ты куда стелешь! Ловко… – сквозь зубы выдавил Фрол. – Без корысти я, говоришь? Бедняк-пролетар?

Фрол вырвал у жены полушубок. Стешка испуганно отступила шага на два.

– Конечно… Сколь тебе еще на конюшне-то торчать? За конюха я бы в любое время замуж выш…

Она оборвала на полуслове, потому что Фрол подошел к ней, сгреб в кулак лопнувшую на груди кофточку, нагнулся к самому Стешкину лицу:

– Гляди прямо, не виляй глазами, и так косая… Значит, значит, должен я… чтобы…

– Ну да, ну да… Фролушка, родимый! Я обещала вывести в люди тебя – и выведу. Чего же, каждый об себе должен заботиться, – глотая слова, умоляюще заговорила Стешка. – Вот увидишь, не пройдет и году – главным на конеферме будешь. Потом – бригадиром. А там и… Захар – он что, не вечный… Ты на собраниях только не сиди молчком… Ты делай вид… вид делай…

Фрол сильнее сжал кулак, и Стешкина кофта треснула теперь и на спине. Он отбросил жену в сторону, усмехнулся:

– Ладно. Сделаю… вид, – и, не дожидаясь ее, вышел.

На собрании Фрол не был. Домой пришел за полночь, вдрызг пьяный. Стешка сидела на кровати в коротенькой, выше колен, ночной рубашке, с распущенными волосами. С минуту она смотрела, как Фрол раздевается. Пуговицы полушубка не поддавались, словно пальцы были мерзлыми. Тогда Фрол так рванул полушубок, что пуговицы стрельнули в стену и покатились по полу. Стешка вздохнула и поджала губы. И вдруг заголосила:

– Господи, достался же мне идиот полоумный! У других мужья как мужья, живут по умению да по совести… У тебя ведь силищи невпроворот. А кабы к этой силе да умишка капельку! Нет своего – так пользуйся жениным…

Фрол кое-как стащил стылый пим с правой ноги, прислушался к голосу жены. Потом вдруг размахнулся и пустил тяжелый валенок в Стешку, стараясь почему-то попасть в ее голое толстое колено. Но не попал, валенок ударился в окно, и опять, как в день свадьбы, посыпалось со звоном на пол стекло.

– Вот, во-от! – завопила Стешка, вскакивая с кровати. – У тебя силищи только и хватает – водку жрать да одежду рвать! Да над женой изгаляться! Уйду я, уйду, коли так, коли не будешь… А на черта мне?! К Захару в ноги кинусь – он поднимет, подберет. Выбирай, милок: или будешь, как я говорю, или…

У Фрола плавало, качалось перед глазами ее мокрое лицо, мотались спутанные волосы, блестели зеленые, рысьи глаза. Он поднялся, пошел на Стешку. Ее лицо, и волосы, и глаза становились все ближе и ближе… В ушах стоял звон разбитого стекла…

– Кинешься под ноги? – спросил он хрипло. – Значит, совсем хочешь жизни человека решить?

– Тебе… тебе какое дело? – взвизгнула Стешка.

Тогда Фрол наотмашь хлестнул ее рукой, как мокрой, тяжелой тряпкой, по лицу. Стешка упала на колени, испуганно глядела снизу на мужа, словно соображая, что же такое произошло.

– Фролушка… Не тронь меня! Не хочешь, я сама… сама буду…

– Что-о? – рявкнул Фрол.

– Сама выйду в люди… сделаю вид…

Он вдруг, осатанев окончательно, сдернул висевшие на гвозде у порога толстые волосяные вожжи…

Стешка не кричала, распустила все тело, расплылась по полу, словно нежилась под его ударами. Она только прикрыла руками голову да чуть-чуть вздрагивала, когда вожжи обжигали ей спину.

Наконец Фрол выдохся, отшвырнул вожжи, доплелся до кадки с водой. Стуча зубами о железо, выпил подряд три ковша, обливая водой горячую грудь. Подошел к кровати и бухнулся в постель.

Стешка до утра так и пролежала на полу недвижимо, словно муж засек ее насмерть.

Утром Фрол обмыл изуродованную спину жены теплой водой, помазал топленым маслом. Перенес ее на кровать, положил вниз лицом, прикрыл простыней и сел возле на стул.

Стешка долго лежала без движения, потом повернула к мужу голову. Из глаз ее неслышно катились слезы.

– Подурили – и будет, – виновато сказал Фрол. – Давай жить.

…И стали жить тихо, безрадостно, как старики. Свадьба была без веселья, и жизнь потекла без любви, похожая на скучный осенний день, которому нет конца.

Стешку Фрол никогда больше не бил. Потому, может, что не за что было. После того как исхлестал ее вожжами, она сделалась тихой и покорной. Только нет-нет да и вздыхала тяжело о чем-то.

– О чем? – спросил он однажды прямо.

Она вздрогнула, как от удара, тоскливо опустила голову, сказала с тихой обидой:

– Дурак ты все-таки.

– Ишь ты, умная…

– Не умней, может, тебя, да разумней. Кабы послушался…

– Замолчи! – построже повысил голос Фрол.

И она опять вздохнула, словно загнала в себя что-то.

Стешка работала на общих работах. Косила сено, жала серпом хлеба, веяла зерно. Зимой ездила даже за сеном вместе с Андроном Овчинниковым. К любому делу относилась старательно. Иногда вдруг ни с того ни с сего начинала обмазывать к зиме колхозный коровник, хотя

ее об этом никто не просил, или на собрании вдруг наседала за какую-нибудь промашку на председателя. Но это случалось редко, потому что после каждого такого случая Фрол срезал ее:

– Вид делаешь, что ли?! Смотри у меня… Вон вожжи-то висят.

Вожжи действительно постоянно висели на стене. Стешка несколько раз убирала их с глаз. Но Фрол разыскивал и молча вешал на прежнее место.

Стешка поеживалась и надолго сникала.

Да и вообще, она вяла год от году, как вянет день ото дня цветок в бутылке с водой. И как-то утром, поставив перед Фролом завтрак, заплакала вдруг, вытирая по-старушечьи слезы концом платка:

– Сам не живешь и мне не даешь, изверг проклятый! Сбрил под самые ноги, как траву литовкой…

– Не жизнь у нас, это верно, – сказал Фрол, откладывая ложку. – Сошлись мы с тобой крадучись и живем как воры. Расходиться давай, что ли.

– Как теперь разойдешься? Куда я… с брюхом-то.

Фрол осмотрел круглыми глазами жену. Живота у Стешки пока не было заметно. Взялся за ложку.

– И давно?

– Месяца четыре, должно.

– Ну что ж… Выходит, жить надо…

Когда родился Митька, Степанида вся ушла в заботы о сыне. Она учила его ходить, учила говорить. Фрол был доволен, что родился сын, что жена оказалась хоть заботливой матерью, стал относиться к ней потеплее.

– Гляди береги его, – сказал Фрол, как только она оправилась от родов.

– Что ты! Пылинке сесть не позволю, – ответила Стешка.

И не позволяла. Сын рос, держась за материну юбку. К отцу шел нехотя, как-то сторонился, пугаясь его угрюмости.

– Ах ты, маткин сын! – смеялся иногда Фрол и тут же, погружаясь в свои хмурые думы, забывал о сыне и жене.

Так дожили они до сегодняшнего дня. Не заметил Фрол, как вырос Митька, не заметил, как подошла старость…

…Отрывочные картины прошлого теснились в голове Фрола, проносились беспорядочные, как рваные, перемешанные ветром облака. Все походило на тяжелый, перепутанный сон…

«Да, Митька… – снова подумал Фрол. – Не заметил, как вырос сын, и, кажется, не заметил, каким он вырос. А каким?»

В школе Митька учился хорошо. «Неугомонный, бойкий, любознательный», – в один голос говорили учителя. Это Фрол знал и сам. Знал и втайне гордился им. Митька всегда был предводителем своих сверстников, зеленодольские ребятишки всегда признавали его превосходство.

Помнит Фрол, как уходил Митька в армию на действительную. Два дня с гурьбой девчат и парней бродил он по деревне, расправив плечи, будто хотел сказать всем своим видом: «Глядите, пока я еще на земле, но сейчас сорвусь и полечу в голубые выси».

Однако, уезжая, сказал совсем о другом:

– Ну, прощайте… Вы еще обо мне услышите.

И услышали. Митька частенько присылал домой вырезки из военных газет, в которых рассказывалось, как – то во время стрельб, то боевых учений – отличался солдат Курганов. Сперва солдат, потом ефрейтор, потом младший сержант Курганов. Степанида давала читать эти вырезки каждому.

Через два года от командира части пришло письмо, в котором он благодарил Степаниду Михеевну и Фрола Петровича за то, что они воспитали такого отличного сына, «показываю-

щего солдатам пример в боевой и политической подготовке, в служении Родине». Письмо пришло почему-то на имя Степаниды Дорофеевой. Но Фрол не обиделся. А через два с половиной года Митька, уже сержант, прислал фотографию, на которой он стоял с автоматом в руках под развернутым знаменем полка…

После армии Митька стал работать трактористом. Скоро о нем заговорили как о лучшем механизаторе колхоза. И опять в районной газете замелькала его фамилия, а однажды напечатали и портрет. Да и немудрено – выработка у Митьки всегда намного больше, чем у других трактористов, урожай на вспаханных им землях всегда почему-то выше.

– Все очень просто, – маленько красуясь, говорил Митька. – Земля – она пот любит. Самое лучшее удобрение – человеческий пот.

Фрол гордился сыном. Когда слушал толки, что быть скоро Митьке главным инженером колхоза, ничего не говорил, никак не выказывал к таким предположениям своего отношения, но про себя думал: «Не удалась у меня жизнь. Так пусть сын проживет ее так, как хотел бы прожить сам я. Пусть сын сделает на земле то, что не сумел сделать его непутевый отец…»

Думал об этом Фрол, ощущая одновременно и тяжелую горечь, и затаенную, волнующую радость.

И вдруг три дня назад…

– Чего примеряешься которую неделю? Звездани уж батьку под дыхало, чтоб свет померк, – сказал он вгорячах сыну, заметив, что Митька, замкнутый и задумчивый, поглядывает на него иногда любопытно, изучающе.

– Зачем? – холодно усмехнулся Митька. – Примерки разные бывают.

Разные… Сперва-то Фрол и не понял, что означают слова сына, как-то не обратил на них и внимания. А потом, через день, и долбануло: это какую же мерку хочет сын с него снять?!

И начало казаться вдруг: ведь не просто из ребячьей гордости посылал Митька из армии газетные заметки о самом себе… И потом, после армии, работал не ради своего удовольствия, а опять же вымачивал в поту рубахи для того, чтобы в газетах о нем писали. Если это так, то что же он, шельмец, делает, что думает?…

Когда-то доходил глухой слух до Фрола – из-за Митьки уехала из деревни Зина Никулина, младшая дочь Антипа. Фрол спросил у сына:

– Это как понять? Тесно, что ли, в Зеленом Доле стало?

Митька только плечами пожал:

– Вольному воля… Что я, догонять ее должен? На каждый каприз не угодишь.

Услышав, что у Зины родился сын, Фрол, подозвав Митьку, сурово сдвинул брови:

– А ну-ка объясни… Каприз, говоришь? Не выкатывай от удивления глаза, я об Зинке говорю…

– Ну, готов уж сына съесть ни за что ни про что! – вмешалась Степанида. – В чем ты подозреваешь-то родного сына, подумай! Да и чего ей, Зинке этой… Не споганится море, если пес полакал…

– Что-о?! – грузно приподнялся тогда Фрол, взял сына за плечи, притянул к себе и встряхнул. – Ну-ка гляди мне в глаза!

Митька поглядел – смело, открыто. Легонько снял отцовские руки со своих плеч, проговорил:

– За кого ты, батя, принимаешь-то меня?

Фрол поверил сыну.

Тогда поверил, а сейчас, после разговора о примерке, засомневался в искренности Митькиных слов. «Если он, козел двуногий… башку отверну тогда! – думал Фрол, чувствуя, как волной бьет в груди горячая обида. – Отверну… а сам-то, сам что делаю?!»

Горячая волна откатывалась, ей на смену приходила другая – холодная, останавливающая сердце.

Сыну хотелось все же верить. И хотелось верить себе, хотелось пожалеть самого себя, что-то посоветовать. Но что? И как?

…Сколько времени Фрол стоял на вершине увала – он уже не мог определить. Судя по тому, что промерз окончательно, стоял долго, может быть несколько часов. Уже давно умолк внизу голодный рев скотины, значит коровам задали скудную порцию того, кукурузного силоса, за который Большаков получил выговор, или полугнилого сена, которое они ворочали в прошлом году, на котором сидел тогда раздавленный его вскриком Захар Большаков, а рядом с ним уставшая до предела Клашка, та самая туготелая Клашка, которая сейчас…

Фрол прислушался к своим мыслям и усмехнулся: с чего начал, к тому и вернулся, словно по заколдованному кругу прошел, а теперь хоть опять выворачивай себя наизнанку – стыдно, мол, за Клашку перед людьми, перед собой, перед Степанидой, перед Митькой, вспоминай, как появилась Стешка в его жизни, как отобрал ее у Захара, как прожили с ней без любви и ласки…

Чтоб покончить со своими думами и воспоминаниями, надо скользнуть вниз, оставить их здесь, на вершине увала. И Фрол, до сих пор висевший грудью на лыжных палках, выпрямился. Палки поставил так, чтобы можно было с силой оттолкнуться ими. Он уже глубоким и долгим вздохом набрал в себя побольше воздуха, чтобы хватило на весь спуск. И вдруг сжался и замер, окаменел… Вдруг мелькнула, опалив горячим жаром, мысль: ведь он сам, хотя и бессознательно, направлял свои воспоминания по этому заколдованному кругу. А направлял потому, что…

Если не у каждого человека, то у многих рано или поздно наступает такая пора, когда надо разобраться в жизни. У Фрола Курганова она наступила вот сейчас, когда он собирался съехать вниз с увала. Вернее, наступила она раньше, когда он остановился на вершине и, обдуваемый слабым ветерком, принялся вспоминать прошлое. Сейчас же он просто-напросто ясно и отчетливо ощутил это… Ощутил и в то же мгновение с ужасом подумал об Устине Морозове, вспомнил полы его расстегнутого полушубка, напоминавшие страшные черные крылья. И еще вспомнил, увидел явственно холодную, предостерегающую улыбку на его черном лице. И даже будто услышал слетавшее с его сухих, потрескавшихся губ безжалостное и зловещее: «В чем это разбираться вздумал?! Попробуй только…»

Постояв еще немного, Фрол усмехнулся, но жалко и беспомощно: это не Устин его предостерегает, а он, Фрол, предупреждает сам себя. И не столько страшится он Устина Морозова, сколько боится самого себя. Поэтому и воспоминания свои направляет по заколдованному кругу. И вспоминать-то начинает уже с того времени, когда вошла в его жизнь Стешка. А начинать надо совсем не с этого, а несколькими годами раньше. Надо начинать с Марьи Вороновой, первой председательницы зеленодольского колхоза. И даже не с Марьи, а еще раньше, со времен братьев Меньшиковых. А то получается так, опять усмехнулся Фрол, но уже едко и горько, будто ходит по избе он и выковыривает грязь из углов, выволакивает ее на середину комнаты, на свет. А надо прежде всего приподнять крышку подпола, заглянуть в его темный и холодный зев, взять фонарь, вывернуть побольше фитиль и спуститься в зловещую яму. Тогда будет ясно, почему он, Фрол, безжалостно отобрал Стешку у Захара Большакова, почему он всю жизнь бьет председателя в самые больные места, как, например, ударил в прошлом году на лугу.

Кое-кто говорил тогда:

– Много дурной крови накопилось у тебя, Фрол, шибанула она тебя в мозг. Надо было работать, как другие работали, – переломился бы хребет, что ли! Не так еще, бывало, рабатывал ты, Фрол Курганов! На том же колхозном сенокосе за семерых управлялся.

– Верно, зря раскипятился я, старый хрен, на лугу, – отвечал Фрол. Но тут же добавлял: – Да ведь знаете, как мы всю жизнь с Захаром…

Объясняя людям так свой поступок, Фрол хотел как бы напомнить: «Сами понимаете, с какого времени и из-за чего разошлись наши пути-дороги, почему косовато глядим мы друг на друга, отчего тесно нам в Зеленом Доле вдвоем…»

Люди, кажется, действительно вспоминали, покачивая головами, отходили. А Фрол с недоумением думал, глядя им вслед: «Зачем я говорю им это?! Да если бы вы знали, если бы догадался кто, что раздражение, которое как свинцом облило тогда председателя, в первую очередь обожгло меня самого… Если бы вы знали, что я говорю совсем не то, что хочу, и что вообще я запутался до того – хоть прыгай с утеса в омут с камнем на шее?!»

И вот, кажется, один человек догадался. Как это она сказала? «Тебе и без меня совестно. Перед самим собой…» Ага, перед самим собой…

Сейчас, коченея на вершине увала, Фрол почувствовал вдруг, как шевельнулась в нем слабенькая надежда: «Раз думал тогда так и раз кто-то, кажется, понимает меня, – может, не конченый я человек, может, найду силы приподнять ту крышку подпола, показать людям, что там, в темноте… Они поймут, простят. Клавдия, во всяком случае, поймет. Должна понять».

Но тут же почувствовал, что это тоже сознательный самообман. Ничего он не найдет, ни сил, ни мужества. Так и будет мучиться, корчиться, как на огне. Недаром старый Анисим Шатров ухмыльнулся тогда, на лугу: «Грех да позор – как дозор… хошь не хошь, а нести надо…»

Но почему он, засохший стручок, все-таки сказал так? Какой позор? В смысле – кишка оказалась тонка, надорвалась на работе? Или… Или…

Морозный туман, ползший из-за Светлихи, заволок уже всю деревню, остановился у подножия увала и закачался, как пена на волнах. Туман закрыл скотные дворы, и Фрол, чтобы отогнать как-то или изменить свои мысли, стал упорно думать, чуть не вслух повторять, что в других колхозах вон падеж вовсю, а у них, в «Рассвете», благодаря тому кукурузному силосу – молодец все же Захар! – еще держатся коровенки. Да все равно, наверное, падать зачнут. Зиме еще быть да быть, а силос на исходе, прелое сено тоже…

Солнце село, и внизу, в тумане, засветились огни невидимых домов. Тоненькие огоньки мерцали лучистыми звездочками, то гасли, то разгорались. Фрол стоял и почему-то ждал, когда тумана наволочит еще больше и сквозь холодную молочную густоту не в силах будет пробиться даже искорка. Но огоньки упорно мерцали и мерцали – то бледнее, то ярче. Они словно ныряли куда-то в белый, молочный омут, а потом всплывали на самую поверхность.

«Грех да позор… Хошь не хошь…» Эти слова тоже временами проваливались куда-то, а потом всплывали. Отогнать свои мысли, отвязаться от них было не так-то просто. Даже когда они проваливались, Фрол знал, что они всплывут. А это было тяжело. От этого разламывалась голова.

Глава 8

Обжигающий ветер засвистел в ушах, когда Фрол, резко оттолкнувшись наконец палками, скользнул под увал.

Был Фрол не из последних лыжников в деревне, даже иным молодым мог дать сто очков вперед. Но от бешеного спуска у него сейчас остановилось сердце.

«Да, не тот стал Фрол Курганов, не тот», – опять мелькнула горькая, угнетающая мысль.

«В-зж-ы-и-и…» – тянулся и тянулся злорадный визг вслед за Фролом. Длинными черными тенями мелькали по сторонам кедры. О каждый из них можно было расколоться, как колется глыба льда, брошенная с высоты на каменную плиту, – в мелкие стеклянные брызги, в пыль. Фрол думал об этом, но ни страха, ни даже беспокойства почему-то не испытывал. Он, наоборот, несколько раз оттолкнулся палками, чтобы увеличить и без того сумасшедшую скорость.

Навстречу летели, покачиваясь, белые космы тумана. Фролу показалось, что это не он несется вниз, а белая муть вдруг неудержимо поползла вверх, как закипевшее молоко из кастрюли. Вот-вот это молоко захлестнет его, накроет с головой, ошпарит…

Он плотнее сжал губы, втянул голову в плечи, нырнул в глубь этой мути… Через минуту он остановился. Почти рядом чернел сквозь туман приземистый коровник, маячили возле него в пригоне люди. У самой изгороди стояла лошадь, запряженная в сани-розвальни. Фрол растер рукавом занемевшие от ветра при спуске губы и пошел к пригону.

Захар Большаков и зоотехник сидели на корточках возле павшей коровы, ощупывали ее со всех сторон.

– Все, – сказал хрипло Большаков и поднялся.

– Ведь я говорил – прирезать бы на мясо, пока она еще дышала, – раздался голос Устина Морозова.

– Мяска захотели, да ножичек, понятное дело, наточить не успели, – усмехнулся Антип Никулин, оглянулся вокруг и зачем-то подмигнул уже подошедшему к пригону Фролу. – А кто бы вам, спрашивается, корову дойную колоть разрешил?

– Все равно ведь пропала. А то бы хоть мясо, – сказал заведующий гаражом Сергеев.

– Хе! – протянул Антип. – Все равно… А как бы районное руководство узнало, что она, – Антип пнул в мягкий коровий бок, – «все равно»?! Районное руководство – это вам не девки-мальчики. Оно того… бумаги всякие выпускает. А в бумаге все пропечатано – как нам жить и что делать в разных подобных случайностях. Понятно тебе? А что в бумаге на сей конкрет сказано? – И Антип опять пнул в коровье брюхо. – Ничего! Значит, пусть своим ходом животное дохнет. А то много всяких разных слюной на говядину исходят.

Антип говорил, беспрерывно подпрыгивая на снегу, и, так же беспрерывно, застегивал на одну-единственную нижнюю пуговицу – остальные давным-давно отскочили – расходившиеся полы шубенки. Но петля была разношена, и эта единственная пуговица снова выскальзывала.

– Заткнись ты, ради бога, старый свистун! – сказал ему бухгалтер Зиновий Маркович. – Тут тебе не караван-сарай.

– Не об этом речь! – с новым жаром подхватил Антип. – Я говорю вообще, так сказать, о порядках. А ты деньги все считаешь, так вот, подсчитай-ка… Раньше какой хозяин допустил бы, чтобы скотина зазря дохла? То-то и оно. А ныноче иначе. Не тяни лапу, стало быть, даже к дохлой говядине. А почто, собственно? Я, конечно, не о себе говорю. Я могу и на стороне мясца прикупить, с дочерей по суду получаю…

Захар Большаков, до этого безучастный ко всему, повернул к Антипу худое, чисто выбритое лицо и сказал сурово:

– Ну-ка не копоти тут!

– Хе! – снова воскликнул Антип, намереваясь, видимо, вступить в жаркий спор с председателем.

Но Захар нахмурил брови:

– Марш отсюдова сейчас же! Чего тут языком соришь?!

В голосе председателя зазвучало то, чего всю жизнь боялся Антип, – зловещее присвистывание, будто Захару не хватало воздуха. Антип без дальнейших рассуждений вильнул вдоль пригона. За воротами он ткнулся, как слепой, в бок Фролу Курганову, снимавшему лыжи, чертыхнулся и побежал прочь.

Курганов, скинув скрипучие, пересохшие на морозе лыжи, прислонил к изгородине ружье, отцепил мерзлую, закостеневшую лисицу от пояса, положил ее на снег и вошел в пригон. Так и есть – пала Зорька, та ласковая, тихая, застенчивая какая-то Зорька, которая нынче принесла, на удивление всем, двух телят. Каждый раз, когда коров прогоняли мимо телятника, Зорька останавливалась, поворачивала голову, смотрела в заиндевевшие окна и тихонько, жалобно мычала, будто просила показать детенышей.

Фрол почему-то особенно любил эту низкорослую коровенку. Проходя мимо скотных дворов, он нередко заворачивал в помещение – посмотреть, не оттерли ли Зорьку от яслей. Чаще всего так и бывало. Тогда Фрол разгонял буренок и стоял у яслей до тех пор, пока Зорька, испуганно кося лиловатым глазом, хрустела жестким с мороза, как железные прутья, сеном.

Иногда Фрол загонял Зорьку в конюшню и, отрывая от своих коней, наваливал ей полный угол аржанца. Сам стоял с вилами рядом и отгонял тянувшихся к сену лошадей.

И вот все-таки Зорька пала.

Фрол, будто никому не веря, скинул рукавицы, нагнулся и пощупал коровьи ноздри. Они были скользкими, уже заледеневшими.

– Отвезти на скотомогильник, – распорядился колхозный зоотехник.

Курганов медленно выпрямился и так же медленно отошел в сторону.

– Захар Захарыч, ну как же это, а? – пискнула где-то сбоку Ирина Шатрова. – Какая корова-то была!

– Ты береги ее телят, – негромко проговорил Захар Большаков, засовывая руки в карманы полушубка.

Проговорил так, словно речь шла о детях.

– Давайте, что ль, подводу, – снова сказал зоотехник.

– Надо вытащить из пригона, отсюда не выедешь. Ну-ка, мужики! – проговорил Егор Кузьмин.

Несколько человек сгрудились вокруг павшей коровы, ухватили ее за ноги, за рога, за хвост и поволокли к воротам.

Тащили рывками, с криком: «Раз-два!» Тяжелая коровья туша медленно ползла вдоль изгороди, оставляя на занавоженном снегу пригона клочья рыжей шерсти.

– Стой! – крикнул Фрол. – Кому говорю – стой!

И, тяжело дыша, подошел к колхозникам.

– Ты чего, Фрол Петрович?

– Ничего, – буркнул Фрол, засовывая рукавицы за пояс полушубка.

Потом Курганов обошел вокруг коровьей туши, стал к ней спиной, присел на корточки.

– А ну-ка навали… Чего, как девки, переглядываетесь?! Навали, говорю, на загорбок.

– Ей-ей ли?!

– Я тоже говорю – сомневаюсь…

– Надломишься, Петрович!

– Да валите же, дьяволы! – раздраженно крикнул Фрол. – Долго мне еще на карачках сидеть? – Голос его задрожал от нетерпения.

Колхозники еще помедлили несколько секунд в нерешительности. Затем Илюшка Юргин с ожесточением потер заскорузлые ладони, будто садился за полную миску дымящихся пельменей.

– Завалим, раз просит человек. Уважим просьбу. Налетай, мужички!

И тотчас люди снова обступили тушу, перевернули ее через хребет. Коровьи ноги упали на плечи Фролу.

– Подмогните… малость, – выдавил он из себя, хватая уже не гнущиеся, как жерди, коровьи ноги. – Еще… Еще, пока не встану…

Фрол начал потихоньку разгибаться. Колхозники подпирали снизу коровью тушу плечами.

– Еще поддержите, – попросил Фрол шепотом. – Крепче… – И, подогнув ноги, неуловимым движением подался назад. Туша, мягко качнувшись, плотно легла теперь на широкие кургановские плечи. – Отходи… Отходи, говорю!

Но когда люди отошли, колени Фрола начали медленно и мягко подгибаться.

– Дядя Фрол!.. Дядя Фрол!! – воскликнула Иринка Шатрова, и голос ее прервался.

– Господи, угробится мужик-то! – испуганно прокричала Наталья Лукина. – Бросай, Фрол! Бросай!!

– Тихо вы!! – перекрыл всех Егор Кузьмин.

И действительно, стало тихо. Но все равно только один Фрол слышал, как хрустнуло что-то у него в самой середине спины и вдоль позвоночника резанула горячая, обжигающая струя.

«Все! Упаду… Падаю…» – трижды ударило ему в распухшую голову и отдалось нескончаемым гулом.

Потом гудело в голове, больно покалывало в ушах, нестерпимо жгло в позвоночнике. И по-прежнему давила на плечи страшная тяжесть. Но Фрол уже знал, что выдержал, что не упал. Он вдруг сам с удивлением обнаружил, что идет. Идет, покачиваясь, на подгибающихся ногах, но все же идет. И что дойдет до розвальней, стоящих за воротами пригона. Вот только положить коровью тушу в сани у него уже не хватит сил. «Догадались бы помочь, что ли…»

Колхозники догадались.

– Остался еще порох у тебя, оказывается, Фрол Петрович, – сказал агроном Корнеев, когда корова лежала в розвальнях.

Голос агронома еле-еле дошел до Фрола. Курганов не ответил, посмотрел через его плечо на светящиеся в темноте огни деревни. Они покачивались из стороны в сторону до тех пор, пока Фрол не прислонился к изгородине. Но теперь зато огни закрутились, как колеса, все сильнее и сильнее. Колеса были красные, синие, зеленые, черные…

– Погоди, Борис Дементьич, дай ему отойти… Вишь, зашелся, – услышал Фрол голос Морозова.

– Ничего, отдышится, – успокоил всех Егор Кузьмин.

– Он раньше-то жеребцов таскал за милую душу, – начал объяснять Овчинников. – И для-ради чего? Удаль все перед девками показывал. Подлезет коню меж ног, да и… Тот брыкается только, как ягненок. А он прет.

– А чего вы зубы скалите? – заругалась вдруг Наталья. – Шутка ли, в самом деле, такую тяжесть…

– Дык я и говорю – он прет, а девки визжат…

– Да когда это было-то!

И снова все смолкло.

А разноцветные колеса все крутились, правда уже медленнее, перекрашиваясь по одному в бледновато-желтые. И скоро все превратились в обычные деревенские электрические огни, утонувшие в глубоком вечернем тумане.

«Когда это было-то? – грустно переспросил сам у себя Фрол Курганов. И сам же себе ответил: – Давно. Очень давно. А было. Было!»

– И все же, Фрол, надорваться ведь дважды два… – мягко промолвил председатель.

Но Фрол перебил его угрюмо:

– Тебя бы волоком по мерзлым глызам, чтоб мясо до костей сошло! – Нагнулся и стал надевать лыжи.

Захар Большаков двинул седой бровью. Красное и жесткое на морозе его лицо сразу посерело.

– Меня таскали. Не мертвого, а живого…

Фрол Курганов медленно, с трудом выпрямился. Спину разламывало, и он невольно потер ее рукой через полушубок.

Председатель, не вынимая рук из карманов, уже уходил вниз, в деревню.

Фрол, ни на кого больше не глядя, поднял с земли подстреленную в тайге лисицу, ударил ею, как палкой, об изгородь, чтобы стряхнуть налипший снег. Встал на лыжи и тоже зашагал к своему дому. Шагал на согнутых ногах, словно все еще нес коровью тушу. По-прежнему больно ныла спина. И в третий раз подумал сегодня о себе Курганов: «Не тот стал ты, Фрол. Не тот. Был порох, да сгорел. А нового никто не подсыплет».

Глава 9

«Тебя бы волоком по мерзлым глызам, чтоб мясо до костей сошло», – вспомнил Захар слова Фрола Курганова, едва открыл глаза.

Захар откинул одеяло, спустил на пол босые ноги. За ночь изба выстыла, пол был как ледяной.

Рассвет еще не пробился в комнату, по мерзлым черным окнам только-только поползла густая синь. Захар нащупал электрический выключатель. Синь со стекол сразу исчезла, отпрянула за занавески, притаилась где-то там, в глубине складок.

Мишка еще сладко похрапывал. Его голые ноги высовывались сквозь прутья железной кровати.

«Вот и кровать мала стала Мишке, – с тихой радостью подумал Захар, ежась от холода. – А давно ли сын не мог даже влезть на нее… Надо купить новую, вчера, кажется, привезли в магазин хорошие кровати, с никелированными спинками, с панцирными сетками».

Мишка заворочался, зачмокал губами, пробормотал, натягивая одеяло на голову:

– Ага, ты уже встал… Я тоже сейчас, батя… Я сейчас…

Но стряхнуть обволакивающий его сон так и не мог.

Захар потушил свет и вышел в кухню. Ольга Харитоновна копошилась уже с завтраком – резала мясо, чистила картошку.

– Ну чего поднялся ни свет ни заря? Убежит она от вас, что ли, ваша проклятущая работа… – заворчала старуха.

Захар ничего не ответил.

Харитоновна ворчала так каждое утро, и он давно к этому привык.

Весело топилась огромная, одна на все три комнаты, печь. Огонь жадно лизал березовые поленья. Они трещали, щелкали недовольно, капали чистыми слезами на горячий кирпич пода.

– Ну вот, сейчас завтрак сварится, – сказала Ольга Харитоновна, задвигая чугуны в печь. – А я прилягу пока, закрутилась чегой-то…

– Да-да, отдыхай, Харитоновна. Я погляжу тут, – откликнулся Захар от умывальника.

Старушка ушла в свою комнату. Захар закурил, выключил электричество, сел на табурет и стал смотреть на огонь.

«Тебя бы волоком по мерзлым глызам…»

Плясали огненные блики на лице Захара, на стене, розовато окрашивали пышную, нездешних мест растительность на мерзлых стеклах окна.

Многое вспоминается в темноте у горящей печки. Огненные блики словно освещают то, что не только давным-давно прожито, но и забыто.

Но там, в этом прожитом, есть такое, что не забывается. Есть раны, которые не заживают. И когда вот так сидишь у печного огонька, прежде всего начинают саднить эти раны.

Захар погладил правое плечо. Погладил потому, что оно и в самом деле заныло, очевидно к перемене погоды.

«Ах, Фрол, Фрол! Уж кто-кто, а ты-то знаешь, что я испробовал своими боками эти глызы!»

Вот так же, как сейчас березовые поленья, гудели когда-то, постреливали бревна старенького Захарова домишка. Хотя не так. Бревна не потрескивали, а гулко стреляли в морозной ночной тишине, далеко просекая искрами жавшуюся к огню темь.

– …И гнездо большевистское не может без вони да копоти сгореть. А спалим! Все спалим!! – кричал в лицо Захару Демид Меньшиков. – Говори, где братка? Говори, сволочь!! Говори, а то небо не с овчинку покажется и не с рукавичку, а с напалок от рукавички!

Захар смотрел на него и почему-то думал: голос Демида вырывается не из глотки, а из глаз. Может, потому так казалось, что горели выпуклые Демидовы глаза страшным, белесым каким-то огнем. А может, еще и потому, что в это время шевелились не губы Демида, а еле заметные, совсем недавно, видно, проступившие морщинки вокруг его глаз.

Давно это было. И будто недавно. Будто вчера красные лоскуты пламени полоскались над избенкой, багрово отсвечивая на февральском снегу. И будто не замолк еще в ушах сожженный самогоном голос Демида Меньшикова:

– Где братка? Говори! Говори! Говори!

А он, Захар, не знал, куда девался старший брат Демида, Филипп Авдеич Меньшиков, самый богатый человек в Зеленом Доле. И никто во всей деревне не знал этого.

…Захар Большаков еще раз погладил ноющее плечо и раз за разом выкурил до конца папиросу.

От печки по всему дому волнами растекалось тепло, отчего в темной кухне, наполненной дрожащими бликами, стало как-то радостнее и уютнее. Захар подбросил в печь еще несколько поленьев, сыроватых и скользких от проступившей на них в тепле испарины. Потом сел на прежнее место и стал опять смотреть в огонь.

…Давно это было, вскоре после колчаковщины. Воронова Марья, первая председательница зеленодольской коммуны «Рассвет», летом двадцатого года конфисковала все имущество Фильки Меньшикова. Двое или трое суток Филька, синь синем, простоволосый, сидел на высоком крыльце своего опустевшего дома, невидящими глазами смотря перед собой. Теплый июньский ветер свободно гулял по огромному дому, хлопал дверями, резными ставнями. Филька не слышал этого.

– Филя… Филя, поешь хоть, родимый мой, а… Ну поешь ты, ради Господа, Филенька! – ныла жена Филиппа, остроносая и острозубая, как щука, Матрена, ползая у ног мужа.

– Тятька… Пойдем в дом, тятенька-а-а! – размазывала по лицу грязные слезы десятилетняя дочка Филиппа Меньшикова Наташка.

– Да не нойте вы, с-стервы! – угрюмо и раздраженно бросал им Демид Меньшиков. – Не троньте его, отойдет, может.

И, черный, как банный чугун, кидался лицом вниз на землю где-нибудь под забором, в холодке. И лежал мертвяком час, два, сутки.

Однажды утром, еще до восхода солнца, хватились – нету Марьи Вороновой. А Филька все сидит на том же месте. Побежали к Марье домой – все распахнуто, но пожитки не тронуты. Только кроватишка сбуровлена, будто тащили Марью с постели, а она хваталась за нее. Марьино платьишко на табурете валяется. Дочки ее трехлетней тоже нету.

Шел тогда слух по деревне – от Анисима Шатрова дочка у Марьи. Так ли, нет ли – Захар не знал. Но вряд ли, думал он. Анисим, верно, все видели, давно начал ходить по ее следу как привязанный. Да только Марья с тех же самых пор косилась на Анисима, как лошадь на кнут.

Тревогу об исчезновении Вороновой первым поднял тот же Анисим. Заметались мужики по деревне. Только Филька сидит и сидит на своем крылечке неподвижно, как пень.

И вдруг, уже к вечеру, вой по всему Зеленому Долу:

– На утесе!.. На утесе она!!

Хлынул народ туда. И Анисим Шатров побежал. Расступились перед ним люди, словно Марья и в самом деле была ему женой…

Марья лежала на краю утеса на спине, а запрокинутая голова ее свисала с камней над речкой, над омутом. И на восход солнца она смотрела. Смотрела, да не видела ничего. Не было больше глаз у Марьи, одни кровавые ямы.

Понимал Захар, и все понимали, что хотел сказать тот, кто учинил над председательницей артели «Рассвет» эту дикую расправу: вот так, мол, каждый будет смотреть на свой рассвет.

Понимали – и молчали. Жуть висела над утесом. Казалось, вот-вот случится что-то еще более страшное, чем то, что уже произошло.

И случилось: откуда-то из-под земли вдруг донеслось, как шелест ветра:

– Пи-ить…

Закрестились и без того онемевшие бледные мужики, заголосили вконец обезумевшие от страха бабы. Первым опомнился Анисим и выбросил, вытолкнул из своей точно луженой глотки:

– Замолчь!

И сразу стало тихо. Только подвывали бабы жалобно и испуганно. Они зажимали рты кулаками, фартуками, платками, до крови закусывали губы, а вой все-таки просачивался. И сквозь него опять простонал измученный голосок:

– Пи-ить…

Огляделись мужики. И он, Захар, заметил под ногами, в широкой расселине скалы, забитой землей, камнями, лоскут ситцевой тряпки. Потянул – нет, не лоскут. Раскидал трясущимися руками траву, камни. И вынул… Марьину дочку вынул.

Подскочил Шатров, вырвал замотанную в какие-то тряпки девочку, прижал к себе. Кажется, что-то хотел сказать Анисим, да не мог – только беззвучно пошевелились его бескровные губы.

Девочка лежала на руках Анисима обмякшая, неживая. Головка ее свесилась, и из нее струйка крови сочилась… тоненькая, как ниточка. Да еще из закрытых глаз выкатились слезинки маленькие, наверно последние…

Захар уже не помнил, как все ушли с утеса, кто привез на следующий день в деревню доктора. Наверное, кривоногий Антипка Никулин. Лениво помахивая кнутом, время от времени стараясь стегнуть зачем-то рывшихся в дорожной пыли кур, Антип ехал на телеге по улице и, поравнявшись с Захаром, натянул вожжи и вывалил сразу кучу новостей и вопросов:

– Как будем жить без председательши-то? Вот те Марья-партизанка! Крутенько обошлась с Филиппом. А по другим деревням, чтоб трясти богатеев, не слышно вроде. Али тоже зачнут теперь? А то живут, понимаешь, асплотаторы… Царство небесное ей, Марье-то. А девчушка ее ничего, отошла. Доктор сказывал – будет жить. Из городу начальник какой-то приехал с кучей милиционеров. Тут начальник, а Фролка, боров вонючий, с перепою посреди улицы в грязи мертвяком валяется. Не мог уж подождать, дьявол. Я вот тоже не без греха – веселый, словом, человек. Но чтоб в грязь носом когда, как свинья… Уж такую напраслину никто не скажет. Завтра хоронить Марью собираются. Демид Меньшиков сгинул с деревни, слыхал? Марью-то не он ли? На него народишко думает. Так что зря, однако, Фильку вы связали да под замок в амбар кинули. Жена Филькина ходит по улице, трясет головою да кланяется каждому. Как думаешь, не тронулась она сознанием?

Антип помолчал, что-то соображая, и усмехнулся:

– Приезжий-то так себе мужичонко, в заплатанной гимнастерке, а начальник! Ране, бывало, приедет кто с уезда – весь в ремнях скрипучих, а то и при сабле. А у этого, поди, штаны веревьем подвязаны, а?

– Поди да спроси, – зло сказал Захар.

– Спросить не вопрос, – храбро ответил Антип, видимо полагая, что никто другой, кроме него, не осмелится это сделать. – Да я и так знаю – веревьем.

И объяснил, почему он знает:

– Ныноче все иначе.

И поехал дальше, бороздя босыми ногами по дорожной пыли. А Захар пошел к Анисиму Шатрову.

Жил Анисим до революции не то чтоб богато, но и не бедно. Его отец много лет держал неподалеку от Зеленого Дола, на одном из таежных притоков Светлихи, мельницу. Старшего

Шатрова в деревне называли «колдуном» – за вечное отшельничество (за свою жизнь вряд ли он более трех раз бывал в Зеленом Доле), за огромную, чуть не до пояса, бороду, которая скрывала его лицо и его годы. Сколько лет мельнику – никто не знал. Кто говорил – сто, кто – чуть ли не полтораста. Во всяком случае, самые древние старики Зеленого Дола рассказывали, что еще в детстве их пугали мельниковой бородой.

Захар помнит, как однажды по весне – было это, кажется, перед самой германской – мельник неожиданно появился в Зеленом Доле, заявив:

– Помирать приехал.

Однако, вместо того чтобы помереть, выстроил на самой окраине села крестовый дом и справил шумное новоселье. Рассказывали, что «колдун» беспрерывно заставлял плясать своего двадцатитрехлетнего сына Анисима, всех гостей. А сам сидел за столом, покачивая головой, поблескивая глазами.

А потом встал, стоя выпил стакан водки, завязал в узел бороду.

– Н-ну, люди! Помните «колдуна». Знаю ить, как величали. – И ударил такого трепака, что самые заядлые танцоры пооткрывали рты.

Плясал мельник до тех пор, пока не упал. Его подняли и положили на лавку.

– Ну вот, отплясал свое – и на место, – тяжело проговорил старик. – Анисим, домовина моя на мельнице, в сараюшке. Прошлогод выстрогал. Ты ступай-ка за ней, привези к утру. Да останешься мельником – мужичков не обижай. Славные они, мужички-дурачки. Бороду развяжите мне. Вот так. И гуляй, гуляй веселее, чтоб дым коромыслом!

Анисим уехал на мельницу, а «дым коромыслом» шел всю ночь, до утра. Мельник, лежа на лавке, все глядел, глядел, не закрывая глаз, как веселится народ.

Утром обнаружили, что «колдун» давно закостенел. Когда он умер, никто не заметил.

В отличие от отца Анисим каждую неделю наведывался в село, ночи напролет толокся с девками на игрищах. Когда же отец умер, молодой Шатров и вовсе не стал вылезать из деревни, гулял по солдаткам, как кот по крышам…

– Других-то на войну берут, а этого жеребца на расплод, что ли, оставили… – зло говорили старики.

– Погодите, может, еще и возьмут…

– Ну как же, жди в Петровки снегу! Откупится, коли что…

Вскоре, однако, Анисим поутих. Правда, в село приезжал по-прежнему часто, но теперь – все видели – только из-за поденщицы Меньшиковых Марьи Вороновой. И о чем судачили все зеленодольские бабы, чего никак не могли взять в толк – так это поведение самой Марьи. Раньше, когда Анисим гулял с солдатками, Марья сохла – это тоже все видели – по молодому мельнику. А теперь сторонилась его, не пускала в свой домишко, хотя Анисим простаивал под окнами ночи напролет.

– Дура, вот дура… Счастье ведь само в руки лезет, – неодобрительно качала головой и мать Захара Большакова.

В семнадцатом году, летом, Анисим взял да сжег свою мельницу.

Разно толковали в селе об этом случае. Одни кричали: «Нарочно поджег, сволочь! Ни себе ни людям чтоб!» Другие говорили: «Это Марья довела его до пределов терпения. Вон, набегала прошлогод ребенка где-то… Шатров и сдурел…» Третьи считали: Анисим сделал это по пьянке, когда дурь в голове свистела.

Что было всего ближе к истине – неизвестно. Но в тот год Шатров действительно снова сорвался с зарубки, не просыхал от пьянства, хороводился с кулачьем, с тем же Филькой Меньшиковым. В эту же компанию затесался тогда гуляка-голодранец Антип Никулин, а затем подпарился семнадцатилетний Фролка Курганов.

– Один ведь ты, сынок, на свете, один как перст, – сказал однажды Меньшиков Фролке. – Твоя мать-покойница просила меня поглядеть за тобой. Так что приваливайся под мое крыло. Пропасть не дадим. Накормим, напоим, Анисим баб любить научит… Эх!

Где было устоять Фролу!

Мир в семнадцатом году плескался, шумел, гудел, раскалывался пополам, а четверым собутыльникам на все это было наплевать. Они устраивали дикие попойки то у одной вдовы или солдатки, то у другой или вваливались всем скопом в дом Меньшиковых, часто били там зеркала, окна, распарывали иногда зачем-то перины или подушки, обсыпали себя с головы до ног перьями, орали на всю деревню песни. Из всей их компании о совершившейся революции знал вроде только один Антипка Никулин, у которого открылся вдруг ораторский талант. Насосавшись до посинения вонючего самогону, он, шмыгая носом, начинал рассуждать о собственной значительности:

– Не-ет, революция – это вам не девки-мальчики. Раньше я что был? По праздникам выпить не на што было. А ныноче – иначе. Ныноче я и по будням пьян. Ты вот, Филька, – (раньше Антип старшего Меньшикова называл «Филипп Авдеич»), – ты вот, говорю, угощаешь меня, по отчеству… по отчеству!.. величаешь: «Не угодно ли хлобыстнуть, Антип Минеич?» Угодно Антипу Минеичу. И Фролке угодно. А, Фролка?

– Ага… – говорил Фрол еще не окрепшим баском и шевелил сильными, крепкими плечами.

– Что «ага»! Тебе «ага»-то другое дело, которое в юбке ходит. Каждое утро искать у солдаток тебя с Аниськой приходится. Давай-давай, он тебя обучит. Филька научил водку пить. Аниська – девок любить… А я вот человек нераспущенный. Мне там наплевать на всяких… И я не позволю себе…

– Да это они тебе не позволяют, – еле ворочая языком, говорил Фролка. – Ты рылом не вышел, девок от тебя и воротит…

– Хе, воротит! А Фильку вот с Демидом не воротит. Потому что я пролетарский, можно сказать, элемент. А раз так, я уважения заслужил… Правда, Филька?

– Правда, – кивал тяжелой головой Филипп. – Окажи-ка, Демид, уважение Антипу Минеичу.

После таких слов Демид вставал и неизменно выбрасывал Никулина, как щенка, за дверь.

В начале 1918 года эта компания маленько угомонилась. Сразу же после Нового года уехал куда-то из деревни старший Меньшиков, оставив за себя хозяином Демида.

Когда началась колчаковщина, Антип и Фрол Курганов оказались вместе с ним, Захаром, в партизанском отряде Марьи Вороновой. О Фильке Меньшикове все еще не было ни слуху ни духу. Демид вел себя тихо, с колчаковцами вроде не водился. Зато Шатров пил с ними водку напропалую. Партизаны хотели тайно пробраться в деревню и пристукнуть его, но Марья не разрешила.

– Так ведь он, сволота, сгубил, однако, твоих стариков да Большаковых, – волновались партизаны. – Он или Демидка Меньшиков, больше некому.

– А я сказала – не трогайте его! – прикрикнула Марья. Потом добавила тише: – Про Демида не знаю, а Шатров на это не способен. Он ведь так… дурь выгоняет. Разберемся. И если что – не уйдет.

Слово Марьи было законом…

После колчаковщины Демида и Анисима действительно забрали в милицию. Но через месяц отпустили с миром, – видимо, ни тот ни другой в гибели зеленодольцев от рук карателей виновны не были.

А вскоре вернулся Филька Меньшиков. С костыльком в руках. Самодельный этот костылек сразу привлек внимание тем, что набалдашник его был вырезан в виде человеческой головы.

Где все это время был Филипп, что делал?

Сам он на все вопросы отвечал так:

– Где был, там и наследил. Кинулась вдогонку свора, да вернулась скоро… Вы что думаете, коль Меньшиков, так и сволочь? На Демидке вон убедились. Живем справно – это куда денешь, только совести еще не прожили. Думаем, до смерти хватит…

С приездом Филиппа опять загудел Зеленый Дол от ежедневных пьянок. Но пьянствовали они теперь втроем – братья Меньшиковы да Фрол Курганов. Правда, кое-когда, очень изредка, присоединялся к ним Антип Никулин. Анисим же Шатров после возращения из милиции откололся от них окончательно.

– Что, испугался, песья твоя кровь?! – орал иногда ему в лицо Демид, встречая на улице. – Хочешь теперь чистеньким стать? Видим, за Марьиным хвостом бегаешь, как кобель. Скоро ноги зачнешь ей вылизывать. Н-ну, ничего, если нам пропадать, так вместе… Мельницу-то тоже держал… Забудется это, что ли, тебе?!

Анисим в разговоры не вступал, презрительно сплевывал Демиду под ноги и проходил мимо.

На другой же год после ликвидации колчаковщины Марья начала сколачивать что-то наподобие сельхозартели. Людям и так было нелегко растолковать, что к чему, а тут Меньшиковы пьяно орали:

– У нас своя коммуна, своя и артель… Каждый живет, как ему веселей. Нам пока не тоскливо. Гул-ляй, братва!..

И они гуляли, куролесили до самого дня трагической гибели Марьи Вороновой.

…Долог, нетороплив зимний рассвет, о многом можно передумать, многое можно вспомнить, пока не рассеется густая синь на окнах.

– Я ведь совсем, рассохшаяся колода, забыла – Мишенька просил картошки сварить в мундирах, – сказала Харитоновна, выходя из своей комнаты.

– Ладно, ладно, ты отдыхай, – проговорил Захар. – Я сам сварю.

Картошка в мундирах – любимое Мишкино блюдо. Захар слазил в подпол, достал картофель, помыл, насыпал в чугунок, поставил на огонь.

Затем опять сел к печке, потер ноющее плечо и продолжал думать о тех далеких событиях, которые всплывали в памяти, потревоженные вчерашними словами Курганова: «Тебя бы… по мерзлым глызам…» Всплывали, как всплывают в пруду рыбины, оглушенные взрывом. Некоторые, ожив, уйдут потом вглубь, остальных прибьет ветерком к берегу, заросшему камышом и осокой. И снова будет чистой водная гладь.

…Когда Захар пришел к Анисиму, Марью клали в гроб. Приезжий, о котором говорил Антип, стоял в толпе народа и говорил:

– Хорошее сердце билось в груди этой женщины, настоящая, красного цвета кровь текла по ее жилам. Подлый враг погубил ее, но не смог остановить ее сердца. Многим из вас еще при жизни она раздавала капельки своей крови, которые сейчас и горят в вас, зажигают ваши сердца. А вы, в свою очередь, раздадите капельки своей крови из своих сердец другим, а те – еще другим. Так вечно будет жить в народе Красная Марья, как в страхе называли ее враги, так вечно будет жить ее дело. И все, кому попадет Марьина кровь, будут людьми сильными и красивыми… А палача этого мы будем искать и найдем. Будем судить его страшным судом…

Долго еще говорил этот человек, фамилии которого Захар так и не запомнил.

Когда пришли мужики и сказали, что могила готова, Анисим разжал вдруг спекшиеся губы и сказал:

– Нет! Пусть Марью на утесе похоронят. Пусть она… каждый день рассвет видит.

Посмотрел-посмотрел на него, на людей приезжий и произнес одно только слово:

– Правильно.

Отнесли Марью на утес. Похоронили в расселине, из которой вынули ее дочку.

Милиционеры в течение двух дней опрашивали народ, пытаясь напасть на след Марьиных палачей. Допросили и Фрола Курганова, предварительно облив его холодной водой, чтоб привести в сознание. Фрол после каждого ведра ошалело мотал головой, обсыпая всех брызгами; приходя в сознание, таращил глаза, как бы силясь понять, чего же от него хотят, и бросал все время одни и те же слова:

– Отвяжитесь вы… Демид, должно. Он все грозился…

Филипп Меньшиков вообще на вопросы не отвечал. Он равнодушно глядел мутными глазами на милиционеров, покачивал головой, будто укоряя их в чем-то. Поэтому они, уезжая, решили прихватить Филиппа с собой.

Но тут случилось непредвиденное.

В течение этих двух дней Фильку держали под стражей в амбаре, связанного по рукам и ногам. Но когда утром подогнали к амбару телегу, чтобы погрузить Меньшикова, амбар оказался пуст.

Так и уехали милиционеры ни с чем. Вместо Филиппа они прихватили с собой на всякий случай его жену Матрену с дочкой…

На следующий день после их отъезда избирали нового председателя артели. Первой назвали фамилию Большакова.

Растерялся даже Захар: по заслугам ли такая честь?

– Народ тебя не чествует вовсе, работать заставляет, – сурово ответил приезжий. Помолчал секундочку и добавил: – Не на прохладное место садят. На этой работе недолго и кровью захлебнуться, как Марья…

Все высказались за Захара. Только Фрол, тоже притащившийся на собрание, синий и мятый с перепою, сидел молчаливо в углу, уставившись в одну точку.

«На этой работе недолго и кровью захлебнуться…»

Оправдались слова приезжего через полгода, в зимнюю трескучую ночь.

За несколько месяцев председательствования ничего такого особенного в деревне не случилось. Даже никто не уезжал и никто не приезжал в Зеленый Дол.

В те поры многие хозяйствовали еще единолично. Однако постепенно единоличников становилось все меньше. Скоро заявление с просьбой о приеме в артель принес и Шатров.

– И ты одумался наконец? – спросил его Захар.

– Не твое дело, – отрезал Анисим. – Молод ты допросы мне учинять.

Захар действительно был моложе Шатрова на пять лет, поэтому ничего больше не сказал, взял заявление.

Анисим, помнится, сдал в артель весь свой инвентарь, работал на общественных полях как зверь, только все молчком, молчком.

Видно, нешуточно любил он Марью.

Выздоровевшую дочку Марьи хотели взять в приют, приезжали за ней из города, но Анисим вдруг окрысился:

– Не трогайте ее, сволочи!

И, помолчав, добавил, ни на кого не глядя:

– Извиняйте… за горячее слово… Хоть теперь отцом ей буду.

Поехал в Озерки, удочерил девочку, переписал ее на свою фамилию.

А о Фильке меж тем не было ни слуху ни духу. Куда он делся? Когда осмотрели в то утро амбар, обнаружили в полу выпиленную доску, а под стенкой подкоп. Кто помог ему сбежать? Сам он выпилить доску не мог. Когда вязали Филиппа, Захар лично обыскал его. И не то что пилку – обыкновенной иглы не мог утаить при себе Меньшиков. Неужели сделать подкоп и пропилить пол в амбаре сумела жена Филиппа, Матрена? Или Демид? Если Демид – куда делись братья, не бродят ли, как волки, вокруг села, не заявят ли однажды о себе?

И вдруг глухой зимней ночью Захара самого спросили:

– Ну, председатель, где мой брат, Филипп Меньшиков?

Захар открыл глаза и увидел перед собой синее, очень синее лицо, на котором поблескивали, как стекла в лунную ночь, два глаза. Большаков сразу узнал Демида. «Как же они, дьяволы, окно без шума выставили?» – заколотилось в голове. Сунул руку под подушку, где лежал наган, но Демид опередил его, схватил руку и с хрустом вывернул ее, одновременно сдернув Захара с кровати.

– Погодь, красный дьявол, оружье лапать! Отлапался! Теперь мы спрос наведем. За братку, за жену его. Подпаливай гнездо большевичье!

Выволокли Захара на мороз в чем был. Но холода он не чувствовал. Лежал в снегу, смотрел, как полыхает его жилье, как пляшут вокруг огненные блики. И от этого огня ему, видимо, было так жарко, что снег вокруг него подтаял, а вывернутую Демидом руку и вовсе прижигало, будто под мышку всунули горящую головешку.

– Значит, не знаешь, где братка?!

– Не знаю. Думал, что к вам удрал. Теперь думаю – подох где-то. Значит, одной сволочью на земле меньше стало, – прохрипел Захар. – Тебя вот задавить бы еще, как вшу на гребешке…

– Скорей, Демид! Кончай ты с ним, народ просыпается, – тревожно сказал кто-то.

– Лошадь мою сюда! – крикнул Демид. И, затянув мертвую петлю на ногах Захара, привязал другой конец к седлу. Потом посоветовал, будто по-дружески: – Вспомнишь – крикни, я перерублю веревку.

Вскочил на всхрапывающего жеребца и…

Ничего не помнит больше Захар. Только снопом брызнули искры из глаз – и потухли, растаяли в густой, вязкой темноте.

Очнулся в доме Анисима Шатрова. Тот, прикладывая какие-то тряпки на раскровавленное, изрезанное мерзлым снегом тело, говорил:

– Кабы не Фролка Курганов, каюк бы тебе с петухами, председатель. Ладно, что он, дьявол, с девками до света валандался.

– Ты, парень, вроде не очень ласковый ко мне был, с чего это лечить взялся? – через силу спросил Захар.

– Ишь ты любопытный! – зло вскрикнул Анисим. И добавил, предварительно грубо выругавшись: – Ни с чего и чирей на мягком месте не вскочит. Лежи давай.

Захара увезли назавтра в город. Ту руку, которую вывернул Демид, вылечили скоро. Зато правую едва-едва не отняли. Она была переломлена в нескольких местах, а плечо до костей изъедено, истерто о мерзлую дорогу.

Выписавшись из больницы, узнал Захар подробности своего спасения со слов девок, бродивших по селу в компании с Кургановым. Увидев зарево посреди деревни, все как-то растерялись. Не успели опомниться – послышался топот коней по мерзлой дороге. Трое всадников выскочили из проулка. Фрол помедлил секунду-другую, словно хотел получше разглядеть, кто это скачет из деревни, потом – никто не знал, то ли из озорства, то ли от испуга, – отломил кусок прясла и, размахнувшись, бросил под ноги лошади первого всадника. Конь споткнулся, со всего маха грохнулся об дорогу и забился, заржал дико – сломал, видно, ноги. Всадник перелетел через голову лошади, шмякнулся в снег.

Девки сыпанули, завизжав, кто куда. Вылетевший из седла человек вскочил, что-то закричал своим. Но те пронеслись мимо, бросив его на произвол судьбы. Человек выскочил на дорогу и побежал в лес. Фрол, выломив другой кусок прясла, кинулся догонять.

Но не догнал.

Узнав про все это, Захар пошел к Курганову.

– Ну спасибо тебе, Фрол… Кабы не ты…

– Живи на здоровье, – сухо и холодно сказал Курганов, отворачиваясь.

Долго еще Захар носил правую руку возле груди на перевязи, долго таскался по больницам. Уж поджила она, стала гнуться, чувствовать тепло и холод. Со временем отошла и вовсе, однако прежней силы в ней никогда уж не было.

«Живи на здоровье», – сказал тогда ему Курганов. Словно в насмешку сказал. Потому что сам же, когда он хотел жить со Стешкой…

До сих пор не может понять Захар, почему Фрол так жестоко обошелся тогда с ним. Ну, любил бы Стешку, а то ведь… Жизнь показала – не любит. И никогда не любил.

А он, Захар, так и остался бобылем. Сперва, оскорбленный и униженный Фролом и Стешкой, не хотел, не было сил смотреть ни на одну женщину. А потом ушли как-то годы…

«Тебя бы по мерзлым глызам…» – еще раз вздохнул Захар. – «Ах, Фрол, Фрол… Корову пожалел, а что разворошил безжалостно вот старые болячие раны – на это, как всегда, наплевать тебе…»

Вязкая, густая синь на мерзлых стеклах начала наконец бледнеть. С улицы словно кто-то беспрерывно и терпеливо тер и тер стекла, слой сини становился все тоньше, голубее, пропуская в комнату все больше света.

Захар поглядел на часы, включил радио, предварительно, чтоб не разбудить сына, почти до отказа увернув регулятор громкости, и стал слушать последние известия.

Затем диктор начал читать статью «Есть ли жизнь на других планетах», а Захар невольно вспомнил середину августа прошедшего лета.

– Полетели-и! Захар Захарыч, вы слышите? Полетели!! В космос! – кричала девушка-учетчица на все поле, подбегая к комбайну, возле которого стоял Большаков.

У Захара екнуло тогда даже сердце. Неужели?… В последнее время очень много писали, много говорили о скором полете в космос человека.

– Чего орешь? – осадил девушку подъехавший к комбайну бригадир Морозов. – Ну полетели – эка невидаль! Опять собаки полетели.

Захар побежал на полевой стан, где был радиоприемник. Да, пока полетели собаки – Белка и Стрелка. Через сутки они красовались во всех газетах мира. Впервые в истории живые существа, побывав в космосе, благополучно вернулись на Землю.

«…Мы живем накануне величайших исторических событий, – приглушенно разносился по комнате голос радиодиктора. – Заря космической эры уже отцвела, занимается ее утро. Недалек тот день, когда в космос вырвется человек. Сейчас ни у кого нет сомнения, что первый космонавт будет гражданином нашей Родины. И когда взмоет в безграничные просторы Вселенной космический корабль, управляемый человеком, вся планета снова и снова будет рукоплескать беспримерному подвигу советских людей…»

«Подвигу… – повторил про себя Захар. – Где-то люди действительно совершают подвиги, а у нас в колхозе коровы дохнут».

Чугунки, задвинутые в печь, кипели, выплескивая порой на пылающие поленья струйки воды. Но это словно была не вода, а керосин – поленья горели все ярче и ярче.

Харитоновна снова орудовала у печки ухватами.

– А картошки-то сварили? – спросил Мишка, выходя из спальни.

– Да уж не забыли, поди, про твое кушанье, – не оборачиваясь, проворчала Харитоновна. – Беспокойник ты, право. Ну, председатель – ладно, а ты чего не спишь, якорь тебя? Еще раным-рано…

Мишка прошлепал в угол, к умывальнику. Плескаясь там, говорил:

– Умаялся я вчера за поездку как черт. Дорогу перемело, все лопатой да лопатой пришлось работать.

Еще в школе Мишка получил шоферские права, и вот уже полгода работал на старенькой, обшарпанной полуторке.

Фыркая и отдуваясь, как мужик, он вылил на голову с полведра воды и, вытираясь, продолжал:

– Еду это я вчера с райцентра, под вечер уже. Возле Пихтовой пади вдруг – трах! На всю тайгу с ружья кто-то громыхнул. Гляжу. Фрол Курганов лису через дорогу прет. «Садись, – говорю, – подвезу». Он даже не обернулся. Что это он такой?

– Ну кто его знает… Такой уж человек. Не расслышал, может…

– А лиса здоровущая. Шапку, наверное, сошьет.

– Может, шапку, – согласился Захар. – Садись давай за стол.

Харитоновна нарезала хлеб. Мишка сосредоточенно думал о чем-то, хмуря, как взрослый, открытый выпуклый лоб.

– Кормозапарник-то везти, что ли, в третью бригаду?

– Надо везти, Миша.

– Ладно, сейчас грузить будем. Когда мне машину-то хорошую дадите? Нынче ведь еще новый грузовик купили. Хватит уж мне на этом примусе. Едешь по деревне – люди смеются.

– Вот добьешь окончательно эту… Мотор у нее хороший…

– Мотор, мотор!.. Мне пятитонку бы, а, батя…

– Будет и пятитонка…

– Ну да, будет… Мне ведь на ту осень в армию идти… – И вдруг задумался, глядя в светлеющее все больше и больше окно. – Мне бы ружье-то, батя… Нынче лис – пропасть. Едешь, а они сидят на дороге. Отбегут и снова ждут, пока не подъеду. Нисколько не боятся… В армию-то можно бы метким стрелком пойти…

– Ладно, Миша, покупай себе ружье, – сказал Захар.

– Двустволку?!

– Ну что ж, бери двустволку.

Миша просиял, даже выскочил из-за стола, схватил полушубок.

– Постой, сперва поешь! – прикрикнула Харитоновна.

– Я уже… Сейчас отвезем кормозапарник, и по пути в райцентр заскочу.

«По пути» – это крюк в полсотни километров. Но Захар сказал:

– Заскочишь. Звонили из райкома – шелуху хлопковую привезли. Нагрузишь, чтоб порожняком не гнать. В самом деле, ешь давай.

Мишка нехотя сел обратно за стол, немного смущенный, понимая, что вел себя не по-взрослому. Помолчал и сказал:

– А вчера Наталья Лукина говорит: «Я приду к вам завтра полы помою». Я говорю: «Не надо», а Ксюха, ее дочка…

Неизвестно, что сказала Ксюха, потому что Мишка вдруг замолчал и даже почему-то чуть смешался. Захар будто и не приметил этого, спросил:

– И что же Ксюха?

– Да так. Ничего.

Захар смотрел на Мишку и чувствовал, как плавится у него в груди что-то теплое, как поднимается ласковое и нежное к этому начинающему взрослеть человеку. Было радостно, уютно как-то рядом с ним и одновременно не хотелось, чтобы он взрослел.

Вспомнился Захару далекий летний пасмурный день, когда в колхоз привезли несколько семей эвакуированных оттуда, где горела земля. Возле узлов и котомок сидела немолодая русоволосая женщина со строго поджатыми губами и кормила грудью ребенка. Вокруг нее на траве пищало и хныкало еще с полдюжины ребятишек, среди которых было два ползунка.

– Это что же… все твои? – спросил Захар, останавливаясь возле женщины.

– Мои, стало быть, – ответила она.

После Захар узнал, что половиной ребятишек, в том числе и двумя грудными, Мария Дмитриевна – так звали женщину – «обзавелась» в пути, во время следования эшелона с бежен-

цами в тыл. Эшелон несчетно бомбили, иные вагоны разнесло в щепки. И родители этих ребятишек были похоронены где-то за Волгой, вдоль железнодорожной насыпи.

Большаков поселил Марию Дмитриевну в своем доме, а сам перешел на квартиру к Колесниковым. И до конца войны удивлялся силам и душевной щедрости немолодой русоволосой женщины. Она работала вместе со всеми на полях и успевала управляться со своей огромной, разноголосой семьей. Когда бы Захар ни заглядывал к ней, она вечно что-нибудь стирала, штопала, перешивала, перекраивала. И никогда он не видел на ее лице отчаяния или даже усталости. Ребятишки, чистенькие, опрятные, бегали и ползали по этим вот комнатам, оглашая дом криком, плачем, смехом…

И кажется, Мария Дмитриевна позволяла себе коротенький отдых только в те дни, когда приходили письма от мужа. Она садилась к окну, разворачивала фронтовой треугольник, тщательно разглаживала его на коленях и читала, читала, перечитывала… Лицо ее, заветренное, опаленное и холодом и солнцем, в эти минуты светилось, молодело, и тогда было отчетливо видно, что обильные морщины изрезали его преждевременно.

Захар время от времени помогал ей, чем мог, – то картошки подбросит мешка два, то ситцу на рубашонки детишкам достанет.

В сорок пятом, как только кончилась война, Мария Дмитриевна засобиралась уезжать.

– Ваня, муж, скоро демобилизуется теперь, – сказала она Захару. – Поеду, – может, хату свою удастся к его прибытию заново поставить на пепелище. Прежнюю-то, пишут мне, сожгли немцы…

– Сюда бы звала мужа…

– Нет уж, – покачала она головой, – негоже как-то… изменять родным местам. Снились-то ведь они чуть не каждую ночь… А вам тут всем спасибо и низкий поклон.

– Тогда знаешь что… Оставь мне кого-нибудь из них, – показал Захар на ребятишек. – Из тех, конечно, которые…

– Что ты, что ты?! – растерянно произнесла Мария Дмитриевна. – Да как же?! Я Ване всех описывала, он их ведь и по обличью почти знает… Он приедет и спросит: где такой-то?…

Долго и настойчиво пришлось ему уговаривать Марию Дмитриевну. Она только покачивала головой. Потом пообещала списаться с мужем, посоветоваться. И наконец сказала:

– Ладно уж… Хороший ты, видать, человек. Бери которого… вон из тех мальцов. Большенького тебе бы, да ведь в памяти они уже.

– Миша, иди-ка, сын, ко мне, – позвал Захар трехлетнего карапуза. В мыслях он давно выбрал этого белобрысого мальчишку.

– Не пойду. Ты усатый, – сказал мальчик.

Но, помолчав, спросил:

– А на лошади прокатишь?

– Да хоть сейчас. Айда со мной на конюшню.

Захар увез мальчика в бригаду, где тот и жил под присмотром старой матери Филимона Колесникова до тех пор, пока не уехала Мария Дмитриевна.

Уезжая, она сказала:

– Мать его я под Воронежем похоронила. Осколком бомбы ее насквозь… Перед смертью она карточку дала мне своего мужа, прошептала: «Может, отыщешь его после войны, так сынка передашь…» Вот она.

Захар нехотя взял карточку. С нее глядел на Большакова простоватыми глазами парень лет двадцати пяти.

Мария Дмитриевна поняла тогда его состояние, мягко проговорила:

– Ну да, придется поискать его. Отец же ребенку. Только навряд ли найдешь. Я даже фамилию не успела спросить. Только и поняла из ее последних слов, что ребенка звать Миша, что они жили до войны в Курске да что муж ее был пожарником…

Так Мишка остался у Захара.

В последующие годы для успокоения совести Захар несколько раз писал в Курск. И после каждого письма жил в страхе: ну, как найдется отец?

Но время шло, а отец Мишки не находился. Да и как найтись, если Захар не мог указать даже фамилию ребенка, писал просто о мальчике по имени Миша, сыне курского пожарника! И Захар успокаивался.

Но однажды в селе появилась маленькая старушка с узелком в руках, пришла к Захару и подала ему одно из его писем:

– Ты, что ли, писал?

– Я… – обомлел Захар.

– Ну-ка покажи ребенка…

Мишке было тогда лет шесть. Она долго глядела на мальчика, покачивала головой:

– Не знаю, не знаю. На отца-то, на Ивана, вроде и походит, и не походит.

– Вот его отец, – грустно сказал Захар, доставая карточку.

Старуха глянула на нее, выхватила из рук Захара, прижала к груди и тихо заплакала. А выплакавшись, сказала:

– Ну спасибо тебе, добрый человек, за ребенка. А это он, Ванюшка. Под Берлином он уж погиб… У меня в Киеве кое-какие родственники живут, да, ежели уж ты позволишь, я тут, у вас, останусь. Буду мало-мальски приглядывать за вами… Господи, да я ведь еще не назвалась – тетка я двоюродная Мишеньке-то буду, по имени-отчеству Ольга Харитоновна…

…Они уже заканчивали завтрак, когда в сенях кто-то негромко стукнул. Потом открылась дверь, и к самому столу торопливо подкатился белый морозный ком. Но как ни торопился этот ком, он все же не успел достичь стола и растаял. А у порога стояла уборщица колхозной конторы Наталья Лукина с крынкой в руках. В белой вязаной шали, вся в изморози, она словно выросла из этих растаявших клубов и сама, казалось, тоже вот-вот растает.

– Здоровенько ночевали, – проговорила она.

– Здравствуй… – Захар беспокойно поднял на нее глаза.

Давно уже крепко-накрепко было им установлено: если что случится тревожное в хозяйстве – тотчас, в ночь-полночь, к нему гонца.

– Да нет, что ты! – успокоила его Наталья. – Я просто молочка вам принесла свежего. Да Харитоновне помочь убраться…

– Из бригад не звонили? – спросил все-таки Захар.

– Не звонили.

Наталья расстегнула полушубок, сбросила шаль на плечи и опустилась на табуретку. Изморозь, покрывавшая воротник сизоватого нагольного полушубка и шаль, расплавившись, горела сейчас розоватыми капельками. Только в гладко зачесанных волосах «изморозь» поблескивала так же, как минуту назад на шали и воротнике.

Глядя на нее, Захар невольно припомнил тот далекий двадцатый год, когда погибла Марья Воронова, ее похороны, пустой амбар с прорезанной в полу дырой…

Милиционеры вместо Фильки Меньшикова увезли с собой его жену Матрену с этой вот Натахой. Матрена сидела в телеге молча, хотя губы ее шевелились, словно она читала молитву. А Наташка испуганно ревела, растирая кулаками слезы по щекам.

Несколько месяцев Захар ничего не слышал об их судьбе.

Когда он, покалеченный Демидом, находился в городе на излечении, в больничном саду подбежала к нему девочка, упала к ногам, заголосила:

– Дяденька Захар… Я давно тебя из окна увидела, дяденька Захар… Возьми нас, пожалуйста, в деревню. Пропадем мы тут. Мама тут, в больнице, какие-то уколы ей каждый день делают. Заколют ведь ее совсем. Дяденька Захар…

Он нагнулся, поднял еще не окрепшей рукой девочку, узнал ее…

Оказывается, Матрену из милиции, убедившись, что она действительно помешалась разумом, отправили на лечение, Наташу определили в детский приют. Она плакала там сутки не переставая, металась, как птица в клетке. И дня через три убежала, появилась в больничной ограде, заглядывала в каждое окно и кричала: «Ма-ама, где ты?» В конце концов она нашла ее…

Потом девочку несколько раз отправляли в приют, а она все убегала и убегала… Все это Захар узнал в психиатрическом отделении больницы.

– Сейчас я разрешил ей быть при матери, – сказал врач-психиатр. – Потому что девочка тоже на грани помешательства. Еще раз-другой отправить ее обратно – и…

– А что же дальше будете с ней делать?

– Ума не приложу. Тут ей тоже нельзя оставаться. Ей все кажется, что мы собираемся заколоть ее мать.

– Мать в каком состоянии?

– Тихое помешательство. Надежд на выздоровление нет. Для окружающих совершенно не опасна.

…Из больницы в Зеленый Дол он, Захар, вернулся не один, а вместе с Матреной и Наташкой.

Всю дорогу он опасался: как-то поймут его поступок односельчане? Но, к удивлению, никто ничего ему не сказал. Только Анисим Шатров усмехнулся и произнес:

– Давай-давай… Выйдет случай, они тебе не то что руки – и голову отвинтят, как гайку.

Поселившись по указанию Захара в избенке на краю села, они жили там тихо и смирно. Летом Матрена целыми днями копалась на огороде, зимой с утра до ночи молилась. Если кто пробовал заговорить с ней, она пятилась, бормоча:

– Свят-свят, сгинь, нечистая сила, сгори ты в огне, как сатана Марья, как бес-анчутка…

Иногда все же она появлялась на улице, приходила на берег речки, долго смотрела на утес и что-то часами беззвучно шептала.

Там, над могилой Марьи Вороновой, трепетало на ветру вытянувшееся уже деревце, посаженное Анисимом через год после ее гибели.

Утес теперь все чаще называли Марьиным.

Когда Наташка подросла, стала мало-помалу ходить на работу. И хотя официально Меньшиковы в артели не состояли, он, Захар, велел каждой осенью выделять им немного хлеба.

Матрена умерла в тот год, когда Наташка достигла совершеннолетия.

Похоронив мать, девушка принесла в контору заявление и сказала:

– Спасибо тебе, дядя Захар. Век не забуду…

Незадолго перед войной она вышла замуж за комбайнера Андрюшку Лукина из соседней деревни и уехала с ним. В начале сорок третьего года ее мужа призвали в армию, и Наталья, беременная Ксюхой, вернулась в родную деревню.

Ксюха так и не увидела отца – он погиб, как и Мишкин отец, в самые последние месяцы войны где-то под Дрезденом. Наталья выплакалась до конца, а потом сказала:

– Господи, хоть бы город как город был, а то Дрезден какой-то!

И стала жить, пряча горе где-то в самой глубине своих серых, всегда чуточку полуприкрытых глаз.

…Захар встал из-за стола.

– За помощь Харитоновне, Наталья, спасибо, – сказал он, доставая бумажник. – Но только… ты уж не обижайся… не могу я иначе… – И он протянул ей деньги. – За помощь и за молоко.

Женщина вспыхнула, нахмурила брови:

– Еще чего… Как тебе не стыдно, Захарыч!

– Слушай, Наталья…

– И слушать не хочу… Давай, давай освобождай помещение! – Наталья решительно поднялась, сбросила полушубок и стала засучивать рукава, оголяя полные, привычные к проворной работе руки. – Харитоновна, где у тебя ведро и тряпка?

– И все же, Наталья… Если бы это раз-другой – ну куда ни шло…

– Да идите же на работу! Долго, что ли, просить? Давай, давай…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.